М. Г. САВИНА

Горести и скитания


Театральные
мемуары

ТЕАТРАЛЬНЫЕ МЕМУАРЫ



М. Г. САВИНА

ГОРЕСТИ И СКИТАНИЯ

•

ЗАПИСКИ

1854—1877

•

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
• ИСКУССТВО •
ЛЕНИНГРАД · МОСКВА
1961

Вступительная статья и примечания
И. И. Шнейдермана



САВИНА И ЕЕ МЕМУАРЫ

За мемуары некоторых актеров потомство должно быть благодарно их друзьям-литераторам. Если бы не настойчивость Пушкина который, понуждая Щепкина сесть за письменный стол, своей рукой набросал начальные строки его записок, сколько драгоценнейших данных о прошлом русского театра было бы потеряно навсегда! Если бы не упрямая и самоотверженная помощь Горького, не бывать бы шаляпинским «Страницам из моей жизни».

Воспоминания Марии Гавриловны Савиной записаны благодаря Тургеневу.

Они познакомились весной 1879 года. Молодая актриса покорила писателя необыкновенным талантом. Впервые он увидал ее на сцене в своей старой пьесе «Месяц в деревне». Как и все тогда, он считал эту пьесу несценичной, роль Верочки — бесцветной, и то, что Савина раскрыла в этой роли, явилось для него откровением.

— Верочка... Неужели эту Верочку я написал?! Я даже не обращал на нее внимания, когда писал. ...Вы живая Верочка,— сказал он ей после третьего акта и, взяв за обе руки, подвел к яркому газовому рожку, чтобы лучше всмотреться в ее черные, сверкающие, вечно меняющие свое выражение глаза. Продолжая жить в образе и чувствуя себя шестнадцатилетней девочкой, артистка в ответ на похвалу «ничего не могла придумать умнее, как подскочить, обнять и крепко поцеловать этого милого, чудного автора».

Наутро он был у нее с визитом. Редко кто оставался нечувствительным к обаянию незаурядной личности Савиной. В полной мере испытал его на себе и Тургенев. Трудно было устоять перед ее всепобеждающей женственностью, острым ироничным умом. К слову сказать, этим качествам Савиной отдал должное и Лев Толстой: побеседовав с нею, он потом признался домашним, что зря смеялся над Тургеневым, влюбившимся на старости лет в «актерку», и за ужином все повторял:

— Нет, знаешь, это счастье, что я стар. Она прелестна!.. Вся насквозь умница...

Тургенев старался не пропускать спектаклей с участием Савиной. Гуляя с ней по Москве (они вместе осматривали строящийся храм Христа спасителя), принимая ее у себя в орловском имении, где она гостила несколько дней, или в Париже, он с удовольствием слушал ее живые, исполненные юмора рассказы о детстве, юности, дебютах на провинциальной сцене. А каждое письмо артистки обнаруживало, что она владеет не только устной речью. Вот почему он уговаривал Савину описать пережитое и однажды преподнес ей весьма обязывающий подарок: красивую, с золотым обрезом тетрадь-альбом в синем переплете, с ключиком и замочком — специально для записи воспоминаний.

Работа над мемуарами стала для Савиной чем-то вроде нравственного долга перед ее великим другом.

Но когда ей было писать?! Время у знаменитой петербургской актрисы уплотнено до предела. «Жизнь моя похожа на заведенную машину»,— говорила она. И в самом деле, годами, изо дня в день она с десяти утра и до трех-четырех часов дня репетирует, после принимает неизбежных светских визитеров, портниху, врача (непосильная работа рано надорвала ее здоровье), отвечает на бесчисленные письма, сама укладывает костюмы для очередной роли и в половине седьмого отправляется в театр. А после спектакля, среди ночи — просыпается, учит текст и обдумывает план очередной роли, чтобы в шесть часов утра опять задремать, а в половине девятого начать новый трудовой день. В семидесятые-восьмидесятые годы Савина — любимица публики. Без нее спектакли идут при полупустом зале. Естественно, что дирекция и товарищи-бенефицианты заваливают ее работой. Двенадцать-пятнадцать новых больших ролей за сезон считается обычной нагрузкой. И выступает она чаще других. «Я играю на этой неделе десять раз, то есть почти два раза в день. У балаганов даже есть преимущество: там не надо жить на сцене, а я плачу настоящими слезами перед публикой...» — жаловалась Савина в год написания данной книги своему другу, известному судебному деятелю А. Ф. Кони; а в другом письме того же, 1883 года сообщала ему: «Да, я на этой неделе играю девять раз, а бог дал семь дней только. ...И после спектакля (когда кончаю рано) авторы читают у меня пьесы или меня привозят без чувств, как всю прошлую неделю».

Где уж тут предаваться воспоминаниям?!. Но именно в этом году после сумасшедшего, как всегда, зимнего сезона, у нее выпали на редкость спокойные дни.

То была вообще счастливейшая полоса ее жизни. Бурный пятилетний роман с Никитой Всеволожским — завязке его посвящены последние страницы этой книги — завершился в 1882 году законным браком. Позади остался трудный, затянувшийся развод с первым мужем. Покончено было с оскорбительным, фальшивым положением возлюбленной известного всему Петербургу аристократа-гвардейца (решившись обвенчаться с актрисой, он вынужден был выйти в отставку). На короткое время перестали терзать и денежные заботы: выделенная Н. Н. Всеволожскому часть наследства представляла собой громадное, в 94 тысячи десятин имение Сива на Урале, с большим, обставленным роскошной старинной мебелью барским домом, необъятным парком и оранжереями, откуда садовник каждое утро приносил массу свежих цветов.

В эти летние, одурманенные сиренью дни не могла она предугадать, что чувство ее будет поругано, что происками хищных кредиторов миллионное поместье будет вскоре отнято, и ей, «жене отставного ротмистра М. Г. Всеволожской», придется по суду годами выплачивать из своего актерского жалованья долги мужа, который знает лишь охоту и картежную игру и с которым сколько-нибудь долго ужиться невозможно. Беда приближалась, была при дверях, но в уютных гостиных Сивы о ней не подозревали. Стояла волшебная, зачарованная тишина, нарушаемая лишь пением птиц. Почти никакой связи с внешним миром: лишь раз в две недели единственный на весь уезд почтальон добирался до Сивы. Савина чувствовала себя здесь словно на краю света. Вся «злоба дня» отхлынула куда-то, воцарился душевный покой — такой полный, какого она никогда не знала. Стали оживать воспоминания. Жизнь так чудесно переменилась, что на многое из прошлого можно было глядеть спокойно, с юмором, как бы со стороны. . .

И Савина взялась за перо. Подаренную Тургеневым «синюю книгу» она благоговейно сохранила нетронутой (лишь через пятнадцать лет внесла туда воспоминания о встречах с ним). А все, о чем вспоминалось в Сиве, переписывала в другую, черную кожаную, с серебряной монограммой тетрадь, запирающуюся маленьким стальным ключиком. Писала быстрым ровным, тонким почерком, уверенно, почти без помарок.

Повесть своей жизни она довела до 1877 года. Позднее артистка много раз обещала себе разобрать обширный архив, для продолжения автобиографических записей мечтала уединиться в Сорренто, с которым были связаны задушевные воспоминания молодости, но времени для этого на протяжении отмеренных ей судьбою лет так и не нашлось. Правда, под конец жизни она несколько реже выступает на

сцене, но зато громадно возрастает объем ее общественной деятельности на посту председателя совета Русского (теперь — Всероссийского) театрального общества, одним из основателей которого она являлась.

В сезоне 1913/14 года, приблизительно за год до своей смерти, она писала о себе, как о «человеке, которому некогда»: «Я всегда спешу, никогда, впрочем, не опаздываю, но двадцати четырех часов в сутки мне мало. Кому только я не нужна и кто только не теребит меня в продолжение дня! Один телефон чего стоит. Домашние говорят, что я успеваю написать письмо между супом и вторым блюдом за обедом. Отовсюду я слышу: «пишите», и даже Тургенев приказал мне «писать», говоря, что я «владею языком». Но дело в том, что я владею речью, не пером, притом я боюсь «литературничать», а стало быть, сочинять или добавлять».

Савину останавливало и другое: «А можно ли писать искренне? Поневоле заденешь кого-нибудь, да и обидишь, а я с моей наблюдательностью да нашим актерским самолюбием скольких врагов я наживу... Публике нужна сенсация. В записках, да еще театральных, всегда ищут пикантных разоблачений, хотя бы в смысле характеристик товарищей. Публику чрезвычайно интересует интимная жизнь артистов...»

Черная кожаная тетрадь, исписанная лишь наполовину, не случайно запиралась на ключ. Савина оберегала рукопись от посторонних глаз. Она гордилась своей славой, знала цену популярности, но, чуждая саморекламе и сенсации, не желала выставлять напоказ свою интимную жизнь. Напрасно М. И. Семевский, издатель «Русской старины», вновь и вновь просил разрешения напечатать мемуары, Савина оставалась непреклонной: «Мне еще рано на кладбище»,— отшучивалась она.

Лишь через двенадцать лет после смерти артистки историк театра А. М. Брянский опубликовал ее воспоминания, озаглавив их «Горести и скитания» (Ленинград, Academia, 1927). Книга Савиной, давно уже ставшая библиографической редкостью, и вошла в мемуарную литературу под этим редакторским названием. Записки М. Г. Савиной печатаются по рукописи, хранящейся ныне в Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде (фонд 689, ед. хран. 31), с восстановлением небольших купюр, допущенных при первом издании.

Мария Гавриловна Савина родилась в 1854 году. Дочь провинциальных актеров Гавриила Николаевича и Марии Петровны Подраменцевых (по сцене Стремляновых), она, как говорится, выросла за

кулисами. Ребенком семи-восьми лет она не раз выступала на одесской сцене, изображая то русалочку в старинной, но все еще популярной фантастической опере «Леста, днепровская русалка», то малютку Эсмеральду в пьесе «Эсмеральда, или Алый башмачок», то мальчика, умирающего от истощения в мелодраме «Уголино, или Башня голода». Смекалистый антрепренер сговорился с ее отцом и устроил наделавший немало шума бенефис «девицы Мани Стремляновой». Осенью 1869 года, пятнадцатилетней девушкой она получает в Минске свой первый ангажемент и после успешного сезона переезжает в Харьков на самостоятельное житье-бытье. Выйдя замуж за актера Н. Н. Славича (по сцене Савина), она играет с ним в Калуге. Далее следует Нижний Новгород, Казань, Саратов, Орел, снова Саратов... Пять лет длятся эти «годы странствий» юной актрисы, расширяя ее известность в провинции и приведя весной 1874 года на петербугскую сцену, в императорский Александринский театр, где она полновластно царила на протяжении сорока лет.

В позднейших письмах, интервью, статьях Савина не раз высказывалась по общим вопросам театра. В «Горестях и скитаниях» она не претендует на роль теоретика или историка сцены. Не следует искать здесь также анализа ее собственного актерского творчества, разбора памятных достижений или поучительных неудач. Обо всем этом говорится мимоходом. В мемуарах Савина восстанавливает прежде всего хронику своей личной жизни, летопись своего сердца. Но она и тут остается художником-реалистом, изображая себя не изолированно, а в реальной жизненной среде, в гуще действительности. Она пишет преимущественно о себе, но за этим и рядом с этим из-под меткого лаконичного пера Савиной возникают характерные контуры навсегда ушедшего театрального быта.

Читая мемуары Савиной, наглядно видишь, сколь велика была зависимость театра от всевластных губернаторов, чья прихоть решала судьбу актрис, постигаешь всю меру антрепренерского произвола, бесправия и необеспеченности рядовых актеров, вынужденных каждый сезон заново искать работу, скитаясь наудачу из города в город; узнаешь, каких забот стоил бедным актрисам «собственный гардероб», без которого и не мечтай об ангажементе. Со своим блестящим талантом, поразительным трудолюбием и на редкость сильной волей Савина скоро завоевала признание, но и ей пришлось преодолевать уродство тогдашних закулисных нравов: преследования со стороны богатых «поклонников», гнусное сводничество антрепренеров или пошлых приятельниц, хитроумнейшее интриганство, борьбу за выигрышные роли, за бенефисы и овации публики. Успехи

актрис в этой борьбе измерялись вызовами, подношениями да еще тем, что наутро после удачного спектакля соперницы переставали здороваться с ними... Для всякого, кто хотел бы глубже проникнуться атмосферой, воссозданной Островским в «Талантах и поклонниках» и «Без вины виноватых», записки Савиной послужат ценным подспорьем.

В те времена простому трудовому человеку ходить в театр было не по карману. Круг зрителей был так узок, что пьесы шли по одному, по два раза в сезоне. Спектакль, сыгранный пять раз, считался сенсационным. Ежедневная смена репертуара обрекала актеров на вечную спешку. Играть приходилось с двух-трех репетиций, «по суфлеру», в одних и тех же шаблонных декорациях, кое-как подгоняемых к самым различным пьесам. Актеры успевали схватывать лишь основные контуры роли, а на художественную отделку времени не оставалось. Творческие удачи бывали результатом счастливого озарения или сходства отдельных черт личности актера с образом. В таких условиях — они очень точно отражены на страницах «Горестей и скитаний» — актеры быстро обезличивались и даже выдающиеся таланты с трудом уберегались от штампа.

Великим счастьем для Савиной было то, что после недолгих скитаний по захолустным антрепризам она попала в лучшее театральное дело провинции — к П. М. Медведеву, воспитаннику московского Малого театра, замечательному актеру и педагогу, умевшему безошибочно распознавать и выращивать таланты. Слепой, механический, ремесленный тренаж (Савина сыграла за годы скитаний около ста пятидесяти ролей!) сменился тренажем осмысленным, разумным. Пользуясь советами Медведева и служившей у него известной, высококультурной артистки А. И. Шуберт, работая бок о бок со своими гениально одаренными сверстниками — П. А. Стрепетовой и В. Н. Давыдовым, будущими знаменитостями русской сцены,— Савина непостижимо быстро овладевала мастерством. Ей, окончившей лишь два класса гимназии, не знавшей обучения в театральном училище, труппа Медведева заменила школу, развила вкус, дала первые понятия об этических основах театрального искусства. При всей кратковременности пребывания в этой практической школе, Савина вышла из нее вполне подготовленной к тому, чтобы сразу покорить столицу.

Впервые посмотрев спектакли Александринского театра, Савина вынесла «отвратительное впечатление». Можно с полным доверием отнестись к этой оценке, подтверждаемой всеми авторитетами эпохи: вспомним горестные отзывы А. Н. Островского, который считал, что частенько в бедных провинциальных театрах играют лучше, чем

в столичном; вспомним язвительные слова Салтыкова-Щедрина, говорившего, что веселее провести вечер в полицейской части, нежели в Александринке, где актеры так безжизненны и понуры, будто во сне веревки вьют.

На этом фоне дебюты Савиной выросли в крупное художественное событие, были первым признаком выхода казенной драматической сцены Петербурга из застоя, длившегося около двух десятилетий. «С г-жею Савиною русский театр ожил и напоминает старые дни золотого своего века, когда артисты играли с вдохновением», — писал в 1874 году рецензент, выражая общее мнение столичной интеллигенции. «Огонь, жизнерадостность, заразительная веселость искрились во всем ее существе. Словно бес какой в ней сидел... Одно появление ее на сцене уже гипнотизировало публику... Точно электрическая искра проносилась по залу», — вспоминал ее постоянный партнер Н. Ф. Сазонов.

К двадцати годам у Савиной выработался сильный характер. Стоит обратить внимание на то место мемуаров, где описываются репетиции спектакля в дворянском собрании, открывшего ей путь к дебютам в императорском театре. Савину еще никто не знал в Петербурге, роль она получила случайно, по болезни другой актрисы, сильно робела и все откровенно третировали ее, предрекая провал. Огорченная, она со слезами отказалась от роли, и устроители, попав в безвыходное положение, стали ее успокаивать и упрашивать. «Я воспользовалась этим,— пишет Савина,— и, поставив свои сцены по своему усмотрению, почувствовала себя совсем на своем месте в этой новой трудной и незнакомой мне роли». В этом маленьком эпизоде обнаружилась волевая, целеустремленная натура Савиной: «Все убедились, что я не такая рыба, какой кажусь».

Савина стала актрисой на исходе эпохи так называемых великих реформ, когда правительство Александра II, проводя эти исторически неизбежные реформы «сверху» и в интересах верхов, жестоко подавило революционное движение. После покушения Каракозова на царя реакция усилилась. Идейные вожди революционной демократии гибли на каторге, томились в острогах, а оставшихся на свободе сковывала по рукам и ногам полицейская слежка и свирепость цензуры. По меткому замечанию Кропоткина, Петербург Чернышевского все больше превращался в Петербург кафешантанов и танцклассов. Героями дня становились бесстыдные рыцари наживы, ловцы «бешеных денег», составляющие головокружительные состоя-

ния посредством гарантированных казной железнодорожных концессий, азартной биржевой спекуляции и наглых банковских афер. Савина сталкивалась с этими новыми «властителями дум» и в провинции. К их числу принадлежал, например, некий описанный ею колоритный барин Александр Петрович К. — саратовский землевладелец и одновременно крупный петербургский железнодорожный делец, который устраивал для актеров роскошные ужины, загородные прогулки в специальном поезде и щедро оплачивал спектакли, играемые при пустом зале, — только для него и его свиты. Подобная публика имела наибольшее влияние на театр. В угоду ей антрепренеры насаждали легковесный развлекательный репертуар. Особенным успехом пользовался новый, недавно проникший в Россию жанр — оперетта, и Савиной пришлось в провинциальные годы отдать ей, как и водевилю, немалую дань. Что поделаешь, — вздыхал современник, — если все пьесы Островского дали за сезон меньше сборов, чем одна «Парижская жизнь» Оффенбаха!..

Многогранное, гибкое дарование Савиной сделало ее любимицей первых рядов партера. Ей удавались не только трогательные, но и комедийные роли. Завсегдатаи кресел и лож, брезгливо отворачиваясь от воинствующе-плебейского, страдальческого, тревожащего их совесть искусства Стрепетовой, носили Савину на руках. Если в университетской Казани студенческая молодежь массой своей определила громадный успех Стрепетовой, то в Саратове вкус публики диктовался богатыми помещиками вроде того, наезжавшего на родину из Парижа, который говорил:

— Стрепетова? Это деревенский хлеб, притом дурно выпеченный. Мой желудок не сварит.

И поле боя оставалось за изящной, во всем соразмерной и привлекательной Савиной.

Творческие конфликты, наметившиеся в провинции, расширенно воспроизводились на Александринской сцене, где Стрепетова, с ее редким по силе дарованием, как бы специально предназначенным для воспроизведения глубоких народных характеров, была во все недолгое время своей службы лишней. Казенный театр систематически проваливал лучшие пьесы Островского, а буржуазная пресса издевательски травила великого народного драматурга за критику богатых классов и сочувствие трудовому люду. Фаворитом был пошлый и плодовитый Виктор Крылов: его перелицованные с французского и немецкого обывательские комедии «не возбуждали желчи и не мешали пищеварению».

Савина, хоть и ссорилась лично с Крыловым и два года бойкотировала его пьесы, в силу многих особенностей своего таланта

сделалась невольно опорой «крыловщины», несчетное число раз являлась перед зрителем в образе «сорванцов» — шаловливых, капризных, избалованных наивностей, делающих из-под веера знаки публике, что они все-таки себе на уме. Такие эпитеты как «сила», «глубина» были редкими в отзывах на подобные роли. Зато рецензии пестрят словами: «мило», «весело», «прелестно», «изящно», «грациозно», «бойко, наивно и задушевно».

В молодости Савина была на сцене превосходным «жанристом», недаром критик сравнил ее манеру с манерой знаменитого художника П. А. Федотова. Наряду с этим в ее искусстве очень сильно чувствовался лирический, субъективный элемент, и ей превосходно удавались образы вроде огневой, неожиданной, смахивающей на Кармен, своенравной «Майорши» Шпажинского: в личности Савиной было, по наблюдению современника, много похожего на эту никому не подвластную в чувствах своих героиню.

Пытаясь хоть как-нибудь передать словами неповторимое обаяние актрисы, дающее свою окраску самым различным ролям, тот же современник в статье конца семидесятых годов прибегнул к таким сравнениям:

«Вам чудится, что со сцены говорит и улыбается вам существо подвижное, живое, шаловливое. Оно как будто идет к вам навстречу, готовое коснуться вас; но только протянете к нему руку и оно словно со всех сторон охватило вас, облило, окатило с головы до ног, как волна прилива, и как волна прилива рассыпалось, распалось и исчезло». Критик говорит о трех «ипостасях» артистки. Вот в Савиной проглянул веселый проказливый котенок, как бы играющий с клубком ниток, но через секунду она — капризная, прихотливая, увлекательная Ундина, так и манящая к себе; а еще через мгновение — холодный безжалостный вампир; что бы ни играла она, в ней всегда чувствуется создание прихотливое, неуловимое, полное силы и энергии — обаятельная женщина с железной рукой, одетой в мягчайшую бархатную перчатку...

В восьмидесятые годы и позже Савина мастерски воплощает «женственную женщину» буржуазных салонов. Зрительницы с завистью копируют ее манеры и туалеты. Салонную даму играет она и в комедиях, и в раздирательных психологически-бытовых мелодрамах, заполнявших сцену. Своим чудодейственным мастерством Савина часто творчески преображает шаблонно скроенные роли; но все же талант ее выражался в них односторонне, узко, порою — искаженно.

Если бы содержание сценических образов Савиной исчерпывалось изящной изнеженной салонностью, имя артистки навсегда ушло

бы в забвение вместе с отжившим буржуазно-мещанским репертуаром. Но в искусстве Савиной звучали и совершенно иные мотивы.

Пореформенное время обостряло социальные контрасты. О голодающей деревне, разоренной «освобождением», артистка знала больше по литературе, но то, как бился в безысходной нужде городской разночинный люд, видела собственными глазами, испытала отчасти на себе. Сталкивалась она с этими контрастами и на сцене — в ролях девушек, ютящихся по сырым углам и подвалам, зарабатывающих на жизнь иглой, как тончайше сыгранная ею героиня «Трудового хлеба» Островского, или перепиской, уроками, как многие другие героини ее репертуара.

Савина была чрезвычайно далека от освободительного движения, вспыхнувшего с новой силой весной 1874 года («хождение в народ»); не поняла она и революции 1905 года, но она была идейно чужда и лагерю ретроградов-крепостников, которые аплодировали казням народовольцев и подбивали на погромы «черную сотню». Ближе всего примыкала она к широким прогрессивно настроенным кругам русской интеллигенции, желавшим содействовать просвещению народа, ликвидации цепких пережитков домостроя, установлению женского равноправия. Не разделяй она этих прогрессивных взглядов, она не сумела бы так проникновенно воплощать образы честных и чистых молодых женщин, гибнущих в столкновениях с темным царством невежества и корысти.

Пусть читатель «Горестей и скитаний», дойдя до страниц, посвященных «Злобе дня» и «Мишуре», где имелись подобные образы, не заподозрит Савину в преувеличении своих успехов. Скорее она их преуменьшила. Она, например, лишь бегло упоминает о своем фуроре в «Виноватой» А. А. Потехина, после представления которой публика вызывала ее около сорока раз и поднесла серебряный венок. Талантливо, с большой искренностью переживая на сцене драмы простых русских девушек, несчастных кротких страдалиц, Савина встречала самое полное сочувствие у образованного общества. В «Трудовом хлебе» ею восторгался Суворин, тогда еще «либерал и даже демократ»; игра ее в «Семейных расчетах» потрясла В. В. Стасова. Однако режим петербургского императорского театра, особенно в годы победоносцевской реакции, не способствовал развитию демократических тем и мотивов творчества Савиной. Там преобладала безыдейная обывательская драматургия.

Среди поставщиков репертуара имелось немало драматургов-ремесленников, которые подлаживались к индивидуальности Савиной, закрепляли ее штампы и, держа в замкнутом круге условной «сценичности», отгораживали от живой жизни. Савина любила их «ро-

левые» пьесы, но была слишком крупным художником, чтобы отдаваться на их волю и, не вся помещаясь в модных «туалетных» ролях, часто преодолевала их изнутри.

С годами реализм Савиной становится все более последовательным, в нем проявляется оттенок суровости. Личный элемент уже не выступает вперед, а растворяется в разнообразнейших типических характерах, вылепленных строго объективно. Сохраняя искренность и естественность исполнения, артистка играет с неведомой прежде тонкостью и глубиной переживаний; в безвкусных, бьющих на нервы психологических драмах, обычных в репертуаре конца века, она намеренно тушует эффектные места, приглушает краски, перенося центр тяжести на «гастрольные» паузы, гениально выразительную немую игру. Лаконичность, экономия изобразительных средств становятся существенным признаком ее искусства. Заметно меняется ее отношение к своим обычным персонажам. Во многих пьесах Савина развенчивает их, лишает ореола трогательности, выступает по определению критики тех лет «прокурором» героинь буржуазной драмы, обнаруживая за их привлекательной внешностью эгоизм, суетность, внутреннюю опустошенность.

Психологическая насыщенность и утонченная нервность образов Савиной рубежа XIX—XX веков сочетаются всегда с блистательным мастерством характерности, которая в чистом, дистиллированном виде демонстрируется восхищенным зрителям в ювелирно отделанных бытовых зарисовках, вроде «Пациентки» и «Благотворительницы» (эти одноактные комические миниатюры писались специально для Савиной и самостоятельной ценности, разумеется, не имели).

Творческий метод актрисы, неустанно боровшейся с ремесленничеством в себе и в театре, складывался под могучим воздействием всего современного ей русского реалистического искусства, а оно переживало в те годы небывалый расцвет. Савина посещала выставки передвижников (на одном из адресов, поднесенных ей от публики, есть подпись Крамского), по свежим номерам журналов знакомилась с новыми вещами Льва Толстого, Некрасова, Салтыкова-Щедрина. Островский поручал ей главные роли в новых своих пьесах и в некоторых из них ценил чрезвычайно высоко. После «Дикарки» он назвал Савину вдохновляющей его музой и прислал свой портрет с благодарственной надписью, интимно-дружеского тона. Савина присутствовала на первых исполнениях симфоний Чайковского (а он, случалось, бывал на ее премьерах), выступала в литературных чтениях с Достоевским. Тургенев читал ей вслух неизвестные в печати страницы «Стихотворений в прозе» и из беседы с ней почерпнул сюжет для «Клары Милич». Репин нарисовал ее для журнала

«Артист», Полонский по-приятельски присылал шутливые стихи, а постаревший Гончаров, любивший беседовать с нею, подарил свою книгу с задушевной надписью. Савина удостоилась чести обсуждать план исполнения роли Акулины с самим автором «Власти тьмы». Чехов, узнав о ее согласии сыграть Сашу в «Иванове», стал расширять и расцвечивать эту роль специально для нее.

Все это — не только внешние факты биографии знаменитой артистки, но воздух, которым она дышала в искусстве, атмосфера, в которой сложились ее художественные вкусы и убеждения. Инстинктивное чувство правды уберегло ее в молодости от влияний все еще распространенного ходульного романтизма, опыт показал, что не ее дело «играть отвлеченно-романтические типы, имеющие мало общего с реальной жизнью». Единственной, как она выражалась, «религией» в искусстве стал для нее реализм. Вне реализма она не мыслила настоящего творчества. «Я не знаю другого назначения сценического искусства, чем отражение жизни»; «мое призвание — отражать жизнь на сцене»,— не раз говорила она.

Эта творческая «религия» делала ее в годы зрелости стойким противником декадентства. Только там, где требовались, так сказать, работа с натуры, живая наблюдательность, поиски типического, характерности, психологических деталей,— она оказывалась в родной стихии и представала перед зрителями действительно громадным, несравненным художником сцены.

Играя — и тоже не без успеха — «костюмные» исторические роли, Савина не могла выразить себя в них полностью. Переодевания здесь было больше, чем перевоплощения. Полную творческую свободу она обретала в образах современниц — сюда был направлен главный ее интерес художника, сюда вкладывалось неисчерпаемое богатство жизненных наблюдений, освещенных тончайшей интуицией и проницательным, ничего не берущим на веру умом.

Когда говорят о современных образах Савиной, в воображении возникают осиные талии и модные челки героинь В. Крылова, Н. Потехина, М. Чайковского, в лучшем случае,— Вл. Немировича-Данченко и Сумбатова. При этом как-то невольно забывается, что для Савиной столь же современными были женщины и девушки Островского, Тургенева, Толстого, да, собственно, и Гоголя (в ее время типы, изображенные в «Ревизоре», еще не изменили своего обличья, к тому же играли их долго не в исторических, а в современных костюмах).

Стоит ли напоминать, какая неизмеримая дистанция отделяла один ряд названных имен от другого! Роли «текущего репертуара» и образы классиков совершенно по-разному соотносились с собствен-

ным сценическим творчеством актрисы. Первые она должна была пересоздавать, наполнять самобытным душевным содержанием и дотягивать до своего крупного художественного роста, вторые заставляли ее самое тянуться к высотам искусства.

В одном письме Савиной, написанном после первого представления «Власти тьмы» в Александринском театре (1895), содержатся следующие гордые строки: «До сих пор у меня были две роли, которые я имела право считать своими созданиями: Марья Антоновна в «Ревизоре», Верочка в «Месяце в деревне», а теперь третья — Акулина во «Власти тьмы». Имена Гоголя, Тургенева и Толстого велики, и я счастлива, что могла олицетворить их типы. Этих трех ролей достаточно для всей моей карьеры, и они служат мне щитом».

Художественную ценность савинской Верочки засвидетельствовал, как сказано выше, сам автор «Месяца в деревне». Нельзя было тоньше, искреннее передать поэзию первой любви и драму обманутого доверия воспитанницы, живущей из милости в барском доме, нельзя было глубже показать превращение этого веселого, наивного ребенка во взрослую девушку, нашедшую в себе силы разорвать со своей лживой барыней-соперницей, от которой она не хочет принимать теперь и куска хлеба.

Таким же шедевром сценического искусства была савинская Марья Антоновна — сентиментальная уездная барышня, по уши влюбленная в проезжего из столицы. Оттенок поэтического очарования юности, неожиданно и убеждающе верно привнесенный артисткой в образ, мгновения искреннего драматизма, переданного мимически в сцене «неожиданного реприманда» и «беспримерной конфузии», только подчеркивали непроходимую пошлость дочки городничего, ее смешное провинциальное жеманство, мелочную практичность и пустое тщеславие. Как, метко используя гоголевские слова, сказал А. Кони, это воздушное создание имело душу, набитую «всяким бабьем». Именно это он увидел в классически ясной игре Савиной.

Четверть века жила Савина на сцене в этой виртуозно разработанной ею комедийной роли, в которой, по мнению Ю. М. Юрьева, была так же велика, как Ермолова в трагической роли Жанны д'Арк. А когда годы все-таки взяли свое — столь же замечательно сыграла городничиху.

Появившись Акулиной во «Власти тьмы», изящная, тонкая, умная Савина поразила современников полным, совершенным перевоплощением в забитую, глуховатую крестьянскую девку. Сколько ее отговаривали от пьесы и роли. «Вы эту драму не дочитаете до конца — тошно станет»,— писал ей директор императорских театров, а популярный драматург И. Шпажинский бурно возмущался: «Очень

жаль, что вы взяли на себя этот труд. Акулина такая пошлая, низкая натура, что жаль ваших «способностей»... Что, кроме животных инстинктов в этой девке?.. Зачем Акулина? Досадно до боли!» Артистке оставалось лишь усмехаться, выслушивая таких советчиков. С первого же прочтения она разглядела, что развитие образа Акулины заключается именно в преодолении животных инстинктов! Ведь в финале, когда Никиту вяжут, она выходит вперед и, смело становясь рядом, говорит: «Я скажу правду. Допрашивайте и меня». И Савина, нисколько не приукрашивая дурковатую, темную, минутами и впрямь физически отталкивающую Акулину, строила внутреннюю партитуру роли так, что концовка ее выходила психологически оправданной, логичной, неизбежной. В одичавшем, полуживотном существе она всесторонне выявила человеческое и показала конечное его торжество над властью душевной тьмы.

С гордостью назвав эти три роли, Савина преуменьшила свои заслуги перед русской классической драматургией. Она имела право считать своими созданиями и «щитом» также многие другие воплощенные к этому времени характеры. Разве кто-нибудь лучше ее воспроизвел и напускной цинизм, и освобожденное из-под его покрова душевное очарование Елены («Женитьба Белугина»), жизнерадостность солнечной, стремительной Вари («Дикарка»), упрямую силу воли взбалмошной и верной в любви Поликсены («Правда хорошо, а счастье лучше»). Артистка уже возобновила «Последнюю жертву» и с новой глубиной чувства сыграла Юлию Тугину, чтобы не расставаться с этой своей любимейшей ролью до конца жизни. Савина написала приведенные слова, когда уже создала и овеянный лиризмом образ Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева, сыграла его же «Провинциалку». С каждым годом «щит» Савиной становился прочнее. К прежним шедеврам прибавились роль Натальи Петровны в том же «Месяце в деревне», и вереница героинь Островского — Глафира в «Волках и овцах» (сперва эта роль не получилась, а потом стала украшением сцены), Людмила в «Поздней любви», Вера Филипповна в «Сердце не камень», Мамаева в «На всякого мудреца довольно простоты» — да всех, даже лучших, и не перечислить: Савина сыграла свыше тридцати ролей в его пьесах! У нее была досадная размолвка с Островским, был период отхода от его драматургии, но в конце XIX — начале XX века ее уже никто не отделял от плеяды лучших, классических истолкователей его образов на петербургской сцене. Последние годы жизни Савиной были освещены новой встречей с творчеством Толстого: ярким, сатирически заостренным исполнением роли Карениной в «Живом трупе». В этот период органическое родство Савиной с критическим реализмом русской литературы

было таким несомненным и наглядным, что театральные модернисты и не пытались завербовать ее в союзники. Она, по их словам, «связана роковыми узами со старой реалистической школой». То, что для них было «роковым» недостатком Савиной, является величайшим ее достоинством в глазах деятелей советской художественной культуры — законных наследников всего лучшего, что было создано искусством прошлых эпох.

Записки Савиной, оборванные на событиях ее личной жизни 1877 года, могут создать у читателя представление, что, кроме своих ролей и своих интимных переживаний, Савина, в сущности, ничем другим не интересовалась. А резкая прямота ее суждений о близких людях может показаться результатом душевной черствости. Такое заключение было бы глубоко ошибочным. Беспощадно острая на язык (она в мемуарах не щадит и себя!), артистка отличалась большой отзычивостью и всегда, не жалея сил и времени, деятельно помогала людям. Уж как неприязненно высказывается она о матери и сестре! А между тем, едва став на ноги, она трогательно заботилась о матери, оставленной мужем, окружила ее необходимым комфортом. Сестра пыталась открыто (и безуспешно — талант был не тот!) соперничать с нею на сцене, а Савина делала ей много добра и воспитала ее рано осиротевшего ребенка, как собственного сына. И по высоко развитому чувству долга, и по непосредственному инстинкту Савина была человеком на редкость гуманным. Десятки, если не сотни провинциальных актеров были обязаны ей материальной и моральной поддержкой. Личная благотворительность рано перестала удовлетворять энергичную, точную, деловитую Марью Гавриловну, которая постепенно становилась первой русской общественно-театральной деятельницей крупного масштаба. Она являлась одним из инициаторов Первого съезда русских сценических деятелей, участвовала в организации Русского театрального общества, в создании при нем Убежища для престарелых актеров (теперь это — Ленинградский Дом ветеранов сцены имени М. Г. Савиной), приюта для сирот, а во время мировой войны устроила лазарет для раненых. Делами всех этих учреждений она — председатель Совета РТО — занималась постоянно, лично, изо дня в день, несмотря на расстроенное здоровье и все еще очень большую работу в театре.

В «Горестях и скитаниях» не мог найти отражения и такой в высшей степени значительный, выходящий далеко за пределы личной биографии артистки факт, как предпринятая весной 1899 года гастрольная поездка Савиной с труппой в Берлин и Прагу. Отдельные наши артисты показывались за рубежом и раньше. Но им приходилось играть с иностранными партнерами и на чужом языке

А спектакли Савиной шли по-русски и успехом своим пробудили на Западе, почитающем нашу литературу и музыку, интерес также и к менее знакомому там русскому сценическому искусству.

«Горести и скитания» читаются, как увлекательная повесть, написанная живым пером беллетриста. Читателю же, знающему и дальнейшую судьбу Савиной, ее мемуары покажутся еще интереснее: он сумеет рассмотреть в них те черты, благодаря полному развитию которых творчество Савиной стало достоянием истории русской культуры.

И. Шнейдерман

МОЕ ДЕТСТВО

Сива, 2 июля 1883 года

Нельзя назвать его радостным. Да и было ли оно у меня? Я как-то всегда чувствовала себя большой и очень несчастной. Играть с детьми, и в особенности в куклы, никогда не любила, хотя превосходно шила им платья и тогда уже проявляла вкус в нарядах. Читала до обморока. Все, что ни попадалось под руку, буквально проглатывалось мною.

Часто доставалось мне за это чтение, а в особенности за ночное. У отца [1] было много театральных пиес, в том числе «Репертуар и Пантеон» Кони и «Драматический сборник». [2] Эти два издания были моими друзьями, и теперь, через много лет, я чувствую к ним приязнь, как к чему-то родному, близкому. В сущности, в этот период я только и могла называть родными и близкими мои книги, которым я отдавала все мое время. Жилось мне плохо, и я только чувствовала себя хорошо, уходя в мир описываемой личности или воображая героиней драмы. Я никогда не думала, что поступлю на сцену, но нисколько бы этому не удивилась, так как все-таки большею частью вращалась в театральной сфере (отец уже был присяжным актером).

Пансион был для меня отрадой от домашней пытки. Никогда не пойму, за что меня мать [3] так не любила! Кроме пощечин, брани, упреков в ничегонеделании, я ничего от нее не видела, и с каждым годом <было> все хуже. Отец любил нас по-своему, но это воплощенное равнодушие и идеальная беспечность. Да мы и видали его редко. Ссоры матери с ним превышают всякое описание

кончались они тем, что он уходил, а мать срывала свой гнев на нас, в особенности на мне, так как сестра[4] всегда умела скрыться вовремя. Более несходных характеров, как мои родители, трудно вообразить; к несчастью, они поняли это только после двадцати одного года совместной жизни и разошлись, когда уже мне было тринадцать лет. Много я пережила, узнала в этот ужасный тринадцатый год! Нас разделили: меня, как нелюбимую, отдали отцу, а Елена осталась с матерью. Не предчувствуя, что моя жизнь до такой степени изменится, я приходила в состояние тупого отчаяния и все спрашивала себя: неужели все так живут, как мы, и почему меня никто не ласкает. Как назло, семейные инстинкты были развиты во мне чрезвычайно, а своей семьи у меня не было. Возвращаясь из пансиона в субботу, я с восторгом говорила себе: я иду домой! но горько раскаивалась, не успев переступить порога. Почему-то каждый мой поступок, каждое слово осуждались и кличка «пансионерка» слышалась как упрек отовсюду. Сестра, как любимица, видя обращение матери, стала относиться ко мне с презрением (которое, впрочем, с большой примесью зависти сохранила и до сих пор). Единственным утешением для меня после всех колкостей и т. п. <было> забраться в мамашину спальную, где по субботам всегда горела лампадка, и на только что вымытом сыром полу, встав на колени перед строгим ликом Николая чудотворца, не молиться, а только с укором спрашивать: за что? Когда раздавался голос матери, я стремительно бросалась в угол к вешалке и там, зарывшись в юбки, рыдала до исступления, рыданиями, от которых разрывается грудь... и мне становилось легче.

Иногда меня там находили в истерике и за это опять наказывали самыми обидными насмешками, но все-таки лампадка и сырой пол были моими утешителями. В пансионе я всегда как-то пристраивалась к старшим и у меня не было подруг. Училась хорошо и особенную способность проявляла к танцам, французскому языку и географии.

Древняя история очень занимала мое воображение, и я охотно готовила уроки из нее, зато терпеть не могла немецкого языка и вот по какому случаю. У нас давали шифр: красную ленту через плечо (у меня есть портрет с первым шифром десяти лет), и если в продолжение ше-

сти недель не получалось тройки, то ученица получала высшую награду или записывалась, кажется, на красную доску, т. е. первой по классу. Это было через год после моего поступления в пансион. Проносив шифр пять недель, я получила 3 за немецкие глаголы!

Шифры сняли, почестей лишили, я возненавидела немца и поклялась не учиться этому языку. Я сдержала слово, о чем, конечно, жалею теперь.

В одиннадцать лет меня перевели в первую открывшуюся в Одессе гимназию, где и поместили опять пансионеркой. Тут жизнь была шире во всех отношениях: много воспитанниц, строже порядок, помещение лучше, а замкнутости прежнего пансиона-монастыря и помину не было.

Тут я помню только эпизод с английским языком: прослушав первый урок, я чуть с ума не сошла от испуга и на коленях уверяла отца, что сделаюсь заикой, если буду учиться. Так как надо было платить лишнее, то отец нашел мои доводы справедливыми, и я по-английски не училась. В этот год я страстно читала Новый завет, выпрашивая книгу у старших, так как мы его еще не проходили, «страдания Христа» перечитывались мною по нескольку раз с недетским благоговением и моей мечтой было приобресть Новый завет в роскошном переплете. Занималась я этим чтением во время рекреаций. И в пансионе, и в гимназии, раза три-четыре в год, меня брали играть на сцене роли детей под фамилией д<еви>цы Стремляновой и это мне было велено тщательно скрывать. Мне часто приходило в голову, почему стыдно быть актрисой? Но, боясь насмешек, я свято хранила мою тайну. Моя лучшая и большая роль была в драме «Нищая», в которой неподражаемо играла слепую мать <Е. А.> Фабиянская, любимица одесской публики. Пиесы я не помню, помню только одну сцену, где слепая узнает свою дочь по рассказу последней. Этот рассказ производил фурор, и я получала массу конфект. В такие вечера моя мать гордилась мною и ласкала меня. Через несколько дней успех мой забывался, жизнь входила в обыкновенную колею, и я вместо «пансионерки» слышала бранное слово «актриса». Опять я недоумевала и не у кого было спросить разъяснения.

В 63-м или в 64-м году, не помню, приехал на гастроли Самойлов.[5] Любимой пиесой в его репертуаре была «Испорченная жизнь», где есть большая роль мальчика. Меня опять взяли из пансиона на неделю учить и репетировать. Опять я имела огромный успех и меня вызывали наравне с Самойловым: он два раза вынес меня на руках. Пиесу пришлось повторять несколько раз, и так как я вообще много играла в этот сезон, то антрепренер вздумал вознаградить меня бенефисом, из которого четверть сбора пришлась бы на мою долю. Имя мое было настолько популярно в Одессе, что отец согласился на это предложение (а может быть, и сам придумал) и решил воспользоваться присутствием Самойлова. Меня нарядили в форменное платье и научили, как просить Самойлова сыграть «Испорченную жизнь» в мой бенефис. Мне было очень страшно переступить порог его номера, а тем более говорить мою речь, но, помня наказы матери и видя отца сзади, я решилась и... получила отказ! — «Я даром ни для кого не играю и уезжаю послезавтра»,— был ответ знаменитого артиста.

Я заплакала только тогда, когда мы сели на извозчика. Я еще не знала цены деньгам и не подозревала, что отец рассчитывал на сбор, но самолюбие мое впервые было жестоко оскорблено посторонним человеком. Бенефис все-таки состоялся (Самойлову заплатили, что он спросил), и я, кроме конфект, получила три букета, как большая. Один из них мамаша велела отнести актрисе, игравшей роль жены, что я сделала с сожалением, боясь, что няня и сестра не поверят моим рассказам без доказательств.

Через год, в бенефис комической старухи Шван, мне пришлось играть русалочку в Днепровской русалке Лесте, с пением (знаменитые куплеты «Мужчины на свете, как мухи, к нам льнут») и переодеваться четыре раза. Восхищению моему не было границ, когда на меня надели трико и газовые, точно балетные, юбки; а когда на первой репетиции мы с Лестой спустились в люк, т. е. провалились под пол, оставляя князя на сцене в недоумении, я думала, что улетаю на небеса. В это время все домашние дрязги не производили на меня никакого впечатления: я только думала о танцевальных башмаках и холодела от ужаса

при мысли, что башмачник опоздает. О том, что они будут велики,— я не думала: тогда я еще не знала кокетства. Этим заканчиваются воспоминания моих детских спектаклей.[6]

У отца что-то вышло с содержателем театра, и он должен был покинуть Одессу, где мы жили семь лет. Меня взяли из гимназии. Мамаша очень плакала, расставаясь с Одессой. Я не помню, что чувствовала, но гимназию оставила без сожаления, так как друзей у меня не было. Плакала я только на могилке маленькой сестры Нюты, жившей всего четыре года, как две капли воды похожей на меня и любившей меня до обожания. Когда я возвращалась по субботам домой, она караулила меня и с восторгом бросалась на шею, а главное, всегда заступалась и утешала, когда меня, по обыкновению, бранили. Она умерла от скарлатины, которая свирепствовала в то время в Одессе. Через пятнадцать лет, в мою бытность в Одессе, я едва разыскала место ее могилки, так как крест сломался и надпись едва была видна. Поставить ей памятник на свои собственные трудовые деньги было для меня большим счастьем, что я и сделала немедленно. Память о ней никогда не умрет в моем сердце.

На лето 66-го года отец принял приглашение киевского театра, где тогда была дирекция — полковник Познанский и Кумме, а режиссером — Николай Антипович Потехин.[7] Мамаша давно не служила. и нас редко брали в театр. Приехал Павел Васильев[8] на гастроли, и я опять попала на сцену. Он дебютировал в «Бедности не порок», и для роли Егорушки, кроме меня, в труппе никого не было. На первой (и единственной) репетиции вышел скандал. Пиеса начинается тем, что Егорушка читает сказку о Бове-королевиче; я начала, как вдруг услыхала голос Потехина: «Это не так, это не так, зачем ее так выучили».

По его мнению, надо было читать по складам. На мое замечание, что я всегда так играла, он крикнул, чтобы я не рассуждала и делала, что велят. Я, конечно, заплакала, мамаша вступилась. Потехин стал кричать еще больше, и меня увели со сцены. Прощай, моя роль! да еще

дома, наверно бы, досталось, хоть и за чужую вину. Покуда меня одевали, со сцены доносился резкий фальцет Потехина: «Это дуру какую-то привели! Я найду гораздо лучше».

Тут уже я сама твердо решила ни за что не играть. Во всей этой истории страдал больше всех Васильев: найти, а главное, выучить мальчика к вечеру было невозможно, стало быть, его дебют не состоится, а сбор полный. Он воспользовался случаем, пока мамашу кто-то уговаривал, взял меня за руку, отвел в кулису, погладил меня по голове и начал самым добродушным тоном:

— Не плачь, матушка, плюнь ты на него, читай, как знаешь, будет отлично.

Слово «матушка», его тон, а может быть, и желание (все-таки) играть сделали то, <что> я действительно решила лучше «плюнуть» и гордо вышла на сцену под руку с Васильевым. Потехина убрали, и все обошлось благополучно. После третьего акта, за сцену с ряжеными, Васильев меня поцеловал. По поступлении моем на императорскую сцену в 75 году Потехин написал мою биографию и поместил ее в «Деле», где весьма ясно намекнул, что *ему* я обязана моими первыми шагами на сцене, что *он* меня учил. Единственный факт его занятий со мной, рассказанный здесь, служит наглядным примером.

На зиму мы переехали в Смоленск. Директором театра был бывший уездный предводитель дворянства Скюдери, а антрепренером актриса Александровская, красивая женщина, с большим голосом, но актриса плохая. Скюдери познакомил нас со своим семейством (жена и две взрослые дочери). Они жили за городом в своем доме, в театре очень редко, почти никогда не бывали и никого из театральных не знали и не любили. Причиной этому была связь Скюдери с Александровской, на что ушло все состояние его и приданое дочерей. Старшая, Екатерина, была положительно красавица. Почему-то они меня очень полюбили, и я часто гостила у них, а к весне почти поселилась там. Дома уже начался разлад между отцом и матерью. О помещении меня куда-нибудь (да и сестре было пора учиться) нечего было и думать: денег не было. Сначала взяли учителя, потом другого, я занималась, но так как никто за нами не смотрел, то я предпочитала повторять старое, чем учить новое, а главное — страдали языки, так как учитель их плохо знал. У Скюдери я достала Тургенева, и

оторвать меня от книги было невозможно. Я старалась не попадаться на глаза матери, да и ей было не до меня.

Так прошла зима. Раз, вернувшись от Скюдери, я застала бурную сцену, последствием которой был переезд отца на особую квартиру. Меня и сестру отправили с ним: я сделалась хозяйкой в почти пустых комнатах и не знала, за что приняться. Отца никогда не было дома, к матери ходить часто не приказано, да и радости особенной не было. Через несколько дней такой жизни Елена ушла к ней и объявила, что останется с мамашей и что отца она не любит. Я осталась одна. Я, при всем желании, не могла поступить иначе: если бы я пришла вместе с сестрой, меня бы прогнали, потому что я «похожа на отца» — этим меня почему-то всегда упрекали и еще дали прозвище «цыганки». А на самом деле я в то время была ни на что не похожа! Как известно, тринадцать лет самый неблагодарный возраст. Я была очень худа и ужасно смугла, узкие плечи, длинные руки, коротко обстриженные светлые волосы, неправильные черты, ноги в больших (на рост) башмаках, уродски сшитое по тогдашней моде платье (всегда ситцевое, а стало быть, и измятое) и чересчур короткое, длинная гусиная шея и пальцы в чернилах. Вот мой портрет. Выручали еще глаза, но они глядели всегда так испуганно или чересчур блестели, а белки были (да и остались) синими, за что нянька прозвала меня цыганкой, а мать волчонком. До пятнадцати лет я была уверена, что подобного мне урода нет на свете и о поступлении (когда-либо) на сцену и помышления не имела. Сознание превосходства сестры, о чем беспрестанно говорилось, принуждало меня во многом подчиняться ей, притом она была много сильнее меня и всегда казалась старше. В ссорах мать брала всегда ее сторону. Я боялась ее сплетен и во многом уступала. Когда после ее переезда к матери я пришла к ним, она встретила меня с презрением и вообще обращалась со мною дурно. Я скромно думала, что и в самом деле виновата, что живу с отцом, и опять ничего не понимала! Кончилось тем, что я ушла в гости к Скюдери, да и осталась там на месяц. Дома обо мне забыли, или не беспокоились, а я чувствовала себя отлично. У Катеньки был большой голос, и она каждое утро брала уроки. Настя, младшая, занималась со мной и благодаря этому я не забыла всего, чему училась. Там у меня были свои книги

(кроме громадной библиотеки Петра Петровича) и тетрадки; они задавали мне работу, и я с сожалением покидала это доброе семейство, когда приличия принуждали хоть не надолго показаться домой. Катеньке вздумалось раз заставить меня спеть что-то и она уверила меня, что учиться необходимо, что у меня будет голос. Я боялась верить этому (а дома и не заикалась — засмеяли бы), но решилась воспользоваться уроками и развила себе слух, что чрезвычайно пригодилось мне после. В конце мая мне пришлось проститься навсегда с моими друзьями: отец объявил, что уезжает служить куда-то и берет меня с собой. Выехать почему-то нужно было на рассвете, и ночь прошла в хлопотах и томительном ожидании. Отец подъехал за мной, Елена вышла к нему проститься, маленького брата Колю[9] нянька[10] вынесла на руках сонного за ворота (мать не хотела видеть отца), все мы поплакали и отправились. Я увозила с собой старинный образ знаменья б<ожьей> м<атери>, которым мамаша благословила меня, короб наставлений, твердую уверенность, что теперь-то я опять попаду в гимназию, и смутное сознание новой начинающейся жизни.

За чертой города, недалеко от дома Скюдери, куда я мысленно посылала мой последний привет, мы остановились. На дороге стояли женщина и мужчина. При нашем приближении они обнялись, очевидно прощаясь, и потом женщина села к нам, сказала несколько слов отцу, еще раз подала руку провожавшему ее и... мы двинулись в далекий путь. Я ничего не понимала и притворилась спящей, чтобы не говорить с этой женщиной, которую инстинктивно возненавидела.

Оказалась она хозяйкой квартиры, в которой жил отец в последнее время. Я от Скюдери как-то заходила к нему и познакомилась с ней, но потом, конечно, и забыла о ее существовании. Звали ее Еленой Николаевной, а фамилию и до сих пор не знаю. Господин, провожавший ее, был ее жилец, его я тоже видела. Все это я моментально вспомнила, и когда необходимость заставила меня открыть глаза, то я прямо назвала ее по имени и спросила, почему она с нами едет. Отец объяснил, что занял у нее денег на дорогу и она будет жить с нами, покуда он их ей не отдаст. Мамаше писать об этом строго воспрещалось. Я поверила, но не совсем.

Мы приехали в Елисаветград. Отца назначили режиссером. Я была постоянно в театре. Елена Николаевна объявила, что она поступает на сцену. Красивая русская баба, высокая, с густыми русыми волосами, полная, лицо круглое без выражения, словом — сарафанница, вздумала играть светских дам, да еще кокеток. Во мне сказалось артистическое чутье — я возмутилась и высказала свое мнение. Это послужило началом нашей вражды. Тем не менее отец выпустил ее первый раз в роли Параши в водевиле «Ямщики». Читать она едва умела, и я учила с ней роль. Играла она так плохо, что дебюты не продолжались. Труппа была маленькая и талантов никаких, актрисы отчаянные во всех отношениях. Насмотрелась я всего и многое узнала. Смотреть, как играют другие, стало для меня невыносимо, а дебют Елены Николаевны дал мне повод требовать своего. Отец наконец позволил мне выходить «на выход» и иногда давал роли горничных. В водевиле «Дочь русского актера» есть у горничной хорошенький куплет, который я, по требованию публики, должна была повторить. Это был первый аплодисмент, полученный мною самостоятельно, и он решил мою участь. Отец поразился моим музыкальным способностям, и на меня стали смотреть иначе, т. е. говорили, что, пожалуй, можно мне когда-нибудь поступить на сцену. Любители вздумали играть малороссийскую оперетку, но за главную драматическую роль никто не брался. Я понимала язык, знала несколько песен, но никогда не говорила. В два дня роль была выучена, а один из любителей занялся со мной музыкальной частью, и через неделю спектакль состоялся. Я играла настоящую роль, драматическую, да еще с пением, почти оперу! Малороссийский костюм удивительно шел ко мне, театр был полон, сердце замирало от страха, я была безмерно счастлива и бесподобно... провалила свою роль и, должно быть, всю пиесу, так как от меня многое зависело. Сюжета не помню, но главная сцена заключалась в прощании Маруси с женихом «Петрусем». Жениха играл очень красивый молодой человек, и Елена Николаевна дразнила меня им и даже при отце сказала, что я в него влюблюсь. Боясь, чтобы актеры и публика не подумали того же, я всю сцену прощания, где Маруся, обливаясь слезами, говорит, что у нее сердце разрывается при мысли о разлуке с милым, простояла, как пень, без движения и даже от-

вернувшись от «милого» Конечно, над нами смеялись и за кулисами копировали эту сцену в карикатуре. Молодой человек очень был огорчен и уверял всех, что он не виноват, «с ребенком играть нельзя» и тому подобное. Несмотря на мои четырнадцать лет, я была совсем дитя и все мои планы, музыкальные способности, аплодисменты, все рухнуло. На сцену поступать нечего и думать — рано.

Это было к концу лета, а в августе мы переехали с этой же труппой в Чернигов. Труппа пополнилась талантливой актрисой Марией Игнатьевной Степановой с мужем, комиком Страховым, и очень красивой женщиной, но плохой актрисой О. Г. Славиной из Киева.

Жизнь моя в Чернигове была очень плоха. Играть я не смела, учиться не давали. Елена Николаевна стала ссориться с отцом и требовать своих денег или поступления на сцену, грозя в противном случае уехать. Отношения ее к отцу стали мне ясны. Со мной большею частью она была дерзка, груба и после какой-то ссоры с отцом обещала надавать мне пощечин. Я в первый раз в жизни почувствовала, что имею какие-то права, и заявила отцу желание уехать к мамаше. В этот день, не зная куда деваться, чтобы не быть дома, я пошла на репетицию, откуда отправилась к Мар. Игн. Степановой по ее приглашению обедать. Должно быть, лицо мое отражало мои невеселые мысли и на заботливые вопросы Мар<ии> Игнат<ьевны> я ответила слезами и кончила тем, что рассказала ей все. Это была удивительно симпатичная женщина, ее все любили и уважали. Актриса она была на все роли: сильная драматическая, комическая старуха и водевильная, так как обладала сильным голосом. Маленькая, худенькая, с мелкими чертами, она казалась гораздо моложе своих лет, играла с одинаковым успехом Марию в «Дочери второго полка» и старуху Чемерицыну в «Омуте». Она меня полюбила, а я быстро привязалась к ней и с каждым днем все более и более восхищалась ею на сцене. Я почти перестала бы<ва>ть дома, так как отношения мои к Елене Николаевне стали невыносимы. Один раз она дошла до того, что посулила выгнать меня из квартиры, так как не намерена «кормить дармоедку и грубиянку». На мое заявление, что я живу у отца, она закричала: «Если бы не я, то вы оба умерли бы с голоду, ты мне всем обязана». Это было уже выше сил моих. В чем

была, я выбежала на улицу, кухарка бросила мне вдогонку бурнус и платок. Я, конечно, полетела к Марии Игнатьевне <Степановой>. Она посоветовала мне потребовать от отца удаления этой женщины и не возвращаться домой до тех пор. Я написала отцу мой ультиматум и вся в слезах, в ожидании ответа, прилегла на постель Марии Игнатьевны, чтобы долго не встать. Организм мой и так был не из крепких, а тут, кроме неприятностей, я еще простудилась, пробежав по снегу до квартиры Степановых в одних прюнелевых башмаках и едва прикрыв голову. К вечеру я уже была вся в жару и не могла подняться. Добрая Мария Игнатьевна не отходила от меня дни и ночи, и часто я, не имея сил открыть глаз, слышала ее рыдания и молитвы. У меня был сильный тиф, и я была без памяти шесть недель. Когда я поправилась и перешла домой, то не застала Елены Николаевны. Она уехала, и с тех пор я ее не видала. С этого дня между отцом и мной установились странные отношения. Я стала думать часто о матери, писать ей откровенно обо всем, меньше обвинять и также меньше уважать отца. Болезнь меня состарила: я выросла и мне казалось, что с новыми волосами (меня остригли) у меня стало больше ума и вообще я стала такая же большая, как мои провалившиеся глаза. Тут конец моему детству и начало юности.

В ЧЕРНИГОВСКОЙ труппе был актер И. Славянский, он же и Савояров, актер плохой, с козлиным тенором и сильным польским акцентом. Постом, из оставшихся товарищей — мелкоты, он составил бродячую труппу, к которой присоединился и мой отец. В то время он получал хорошее жалованье и был полезным актером, но по своей беспечности к концу сезона оставался всегда без гроша и, не имея возможности выехать из города, терял хорошие места. Мы выехали в составе восьми или десяти человек. Я решила, да и необходимо было, играть, чтобы зарабатывать деньги. Мне давали всякие роли, на какие не хватало актрисы. На зиму главные лица нашей труппы рассчитывали служить в Минске, и потому в середине лета мы очутились недалеко от него в городе Бобруйске,[11] где, кроме артиллерийских офицеров (там первоклассная крепость) и евреев,— никого нет. Театр состоял из длинной залы (чуть ли не бывшего манежа), с двумя ложами и двадцатью рядами кресел. Кроме этого, было несколько квартир, где мы все разместились. Актрис было четыре: драматическая — Машенька Сосницкая, девятнадцати лет (выходная в Чернигове), не знающая, куда девать руки на сцене, неуклюжая, какая-то бесцветная; комическая старуха Михайлова, она же и гранд-дама, жена Славянского, едва говорящая по-русски, на роли кокеток и водевили, а преимущественно малороссийские оперетки, и я на вторые водевильные роли и все, что понадобится. Мы играли три раза в неделю, так как в городе существовал офицерский клуб, под названием



М. Г. Савина
в роли Эсмеральды. 1863 г.



М. Г. Савина
с матерью и сестрой.
1860 г.



М. Г. Савина. 1871 г.

«Ротонда», куда собиралась танцевать вся крепость с комендантским семейством во главе.

Сначала я только смотрела, а потом решилась сесть в ряды танцующих. Я уже носила длинное платье, выучилась причесываться к лицу, танцевала хорошо, за кавалерами дело не стало. Целью моей жизни было тогда добиться приглашения на мазурку бригадного адъютанта, который был первым кавалером и танцевал только с генеральской племянницей. Белое кисейное платье, сшитое на первые заработанные мною деньги, доставило это удовольствие, а красная бархатка на моей курчавой голове послужила к погибели нескольких сердец, и с этого вечера я сделалась отчаянной кокеткой. Мазурки с красивым адъютантом скоро надоели, и я задалась мыслью заставить танцевать «М-е Печорина». Там был один офицер, подходивший наружностью к типу лермонтовского героя и весьма копировавший его. Во время танцев он стоял в углу или около окна, скрестив руки, и с презрением глядел на всех. Мне его представили, заявив предварительно, что он не танцует, и я недели две слушала его тирады о бесцельности существования, о суете мирской, о разочаровании и т. д. В один вечер я была особенно в ударе, так как локоны завились лучше, чем когда-либо, а красная бархатка удивительно шла ко мне, и «Печорин» так был разочарован, что решился сделать тур вальса. Как сейчас помню, все танцующие остановились, чтобы дать нам место, или, вернее, смотреть на это чудо. Я была в полном восторге, а со всех сторон меня поздравляли с победой. «Печорин» рассердился и перестал бывать в клубе в танцевальные дни. Я не жалела об этом, так как он перестал занимать меня.

Театр охотно посещался публикой. Репертуар состоял из комедий, легких драм и водевилей преимущественно. Я не портила ролей наряду с другими исполнителями и иногда повторяла свои куплеты, и только. Самый большой успех на мою долю выпал в самой неподходящей мне роли и вот каким образом. Комическая актриса Михайлова поставила в свой бенефис «Грех да беда на кого не живет» и водевиль «На ловца и зверь бежит», где я с особенным удовольствием играла какую-то цветочницу, приходящую с улицы в локонах, цветах и декольте (на водевили тогда все так одевались). В день спектакля сбор обещал быть

полным, нечего и говорить, что все были в восторге, а я с особенным усердием припекала свои папильотки. Репетиция водевиля должна была начаться после большой пиесы, как вдруг Сосницкая вбегает ко мне и объявляет, что спектакль не состоится, так как Михайлова ночью родила и играть не может. Я бросилась на сцену — там полное смятение. Славянский рвет и мечет, не зная, чем заменить спектакль, а муж бенефициантки чуть не плачет — так на бенефис рассчитывали и ребенка одеть не во что.

Не могу себе представить, как могла явиться у меня мысль сыграть вечером за Михайлову, но помню, что на мое предложение некоторые отвечали смехом, отец назвал меня дурой, а муж М. сказал, что стыдно смеяться над его положением. Один Славянский промолчал и через полчаса явился в мою комнату, где Сосницкая плакала от горя, что ей не удастся сыграть роль Татьяны Даниловны, и принес мне разрешение отца играть, если я могу выучить роль к вечеру. Я ее почти знала, так как мамаша играла Жмигулину в Смоленске и я должна была ее спрашивать. Мне стоило прочесть ее раз, чтобы вспомнить, и репетиция с помощью суфлера и пропусков началась. Все были довольны, что сбор не пропадет, один отец сердился и уверял, что я испорчу всю пиесу.[12] В особых объявлениях было сказано, что «по внезапной болезни г-жи Михайловой ее роль исполнит г-жа Стремлянова». Публика конечно удивилась этой замене, двоим-троим сказали настоящую причину, а к вечеру весь театр знал, в чем дело. Общими силами смастерили мне костюм, что заняло почти весь день. Я ничего не ела от волнения и громко повторяла фразы из моей роли, примеряя и ушивая принадлежности моего наряда. Водевиль все-таки я должна была играть, и по поводу этого пришлось мне заплакать. Тогда носили очень высокие шиньоны, но так как они стоили очень дорого, то я завивала и взбивала собственные волосы. Папильотки, по обыкновению, приготовлены, но если их развить раньше, то никакой прически не выйдет, да и Жмигулину играть в локонах невозможно. Я уже начала бранить себя за глупую мысль играть за Михайлову, как вдруг средство нашлось. Я повязала голову черной косынкой, которая закрыла мои папильотки, а сверху надела красную синелевую сетку с кистью, что совершенно подхо-

дило к роли и сохранило мои локоны для водевиля. За эту сообразительность я даже поцеловала себя в зеркало.

Настал вечер. С сильно бьющимся сердцем я вышла из уборной к отцу гримироваться. Я очень просила, чтобы намазал меня, как можно больше, думая, что это будет смешно, а он сердился и несколько раз бросал карандаши, не зная, что делать с «этим невозможным лицом». Не помню, как я вышла на сцену, как начала роль, но слышала смех публики, одобрение актеров (даже отца) и каждый мой уход сопровождался аплодисментами. Но, конечно, эти аплодисменты относились к моему поступку, а не к исполнению. Я была в восторге, и водевиль прошел чрезвычайно оживленно.

Никогда не забуду этого спектакля! В душе я решила после похвал актеров, что когда поступлю на сцену, то буду играть только комические роли. Тем не менее это решение не мешало мне заниматься собой, и в одно прекрасное утро капитан А. явился к моему отцу просить моей руки. Ему было под сорок лет, а мне пятнадцать. Отец принял это за шутку, а я объявила, что пойду за него через пять лет и то, если он сбреет усы, которыми он необычайно дорожил. Тем дело и кончилось. Скоро после этого мы переехали в Минск, где и началась моя карьера.[13]

ПОСТУПЛЕНИЕ НА СЦЕНУ

1869 год, август месяц

Театр в Минске построен в зале дворянского собрания, поэтому невелик, но красив и изящен: все ложи отделаны резьбой и освещены лампами, стоящими на резных же колонках подле каждой ложи, что при красивых туалетах дам очень эффектно. Директором был назначен губернский архитектор Штраух, Август Леонтьевич, и город давал субсидию в шесть или три тысячи — не помню. Режиссером был Мих. Пав. Каратыгин, занимавший такое же место в Петербурге в русской опере, но получивший отставку. Труппа порядочная и довольно большая для такого театра. Я прыгала от счастья, что наконец попала в большой город и на настоящую сцену! Жалованья вместе с отцом мы должны были получать 100 рублей (он 70, а я 30) и один полубенефис на его имя. Я познакомилась с труппой.

Первое место занимала Ирина Семеновна Сандунова,[14] комическая старуха, очень пожилая женщина, покинувшая императорскую сцену, прекрасная актриса (жена известного Кони); Леонарда Ромуальдовна Орлова-Новогребельская (полька) — драматическая любовница; Раевская с мужем: он — роли фатов, она — водевили с танцами, оба из московской театральной школы; Страхов и отец — комики; Яковлев (украшение труппы) — резонер; Сосницкая на маленькие роли, я на вторые роли вообще и преимущественно в водевилях и еще несколько человек, более или менее полезных.

В первый спектакль я вышла в роли Глашеньки в во-

девиле «Бедовая бабушка» и имела большой успех: меня вызвали три раза, а главное, Сандунова меня похвалила, посоветовав, однако, не воображать о своем таланте, так как «смазливая рожица не есть еще талант». Я скромно созналась в справедливости ее слов, так как таланта в себе еще не замечала, а насчет «рожицы» сомнения не было.

Роль Глашеньки была единственная в моем репертуаре, остальное все забирала Раевская, которую публика сразу не полюбила. Сандунова попросила повторить «Бедовую бабушку», которую она играла очень хорошо, а публика принимала нас еще лучше первого раза, и кто-то в пику Раевской, или для поощрения начинающей, поднес мне букет. Этого Ирина Семеновна не перенесла: не хотела выходить со мной на вызов и бранила публику ужасно. Через два дня в местной газете появилась статья (написанная, как после узнала, по просьбе Сандуновой), в которой порицались невежды, не замечающие истинного таланта подле «смазливой рожицы». Автор предсказывал полное падение искусства, так как «дарование не могло развиваться при таком легком успехе». Кончалась статья фразой: «Ох, уж эти мне букеты!» [15] Мой первый букет был отравлен, и я лишилась полезных советов, так как Сандунова перестала говорить и кланяться со мной. Раевская, видя перевес публики на моей стороне, возненавидела меня и запретила своему мужу участвовать в водевилях, где у меня была хорошая роль. Публика, ходящая за кулисы, жаловалась, что я ничего не играю, мне в виде протеста стали аплодировать за два-три слова, Штраух сам был недоволен, но ничего сделать было нельзя: труппа разладилась, перессорилась, так как недоставало главного — драматического актера и играть было нечего.

Подумали, подумали и решили выписать, по совету отца, известного К.,[16] жившего в то время в имении без места, так как он не хотел служить за маленькое жалованье. (Когда мы жили в Смоленске, он служил там и пользовался большим успехом, а также сводил с ума смолянок своей красотой. Он часто у нас бывал, и в эти дни всегда собирались к нам все его воздыхательницы и чуть не крали у него платки из кармана.) Приехал он в конце сентября или в начале октября и сразу завоевал публику и поднял театр. Работа закипела: все помирились, репер-

туар совершенно обновился, сборы полные, публика довольна, Штраух ликует и т. д. Я встретила его как знакомого, но он меня не узнал, так я в три года изменилась. С отцом они были на ты.

Узнав интриги труппы и мое положение в ней, он со свойственной ему горячностью объявил, что все переделает по-своему и что, по-видимому, кроме меня, актрисы в труппе нет и все водевили он будет играть со мной, а не с Раевской. С таким авторитетом мне нечего было бояться интриг, а главное, я буду много играть, да еще с таким актером. В эту ночь я видела золотые сны. На другой день К. принес мне несколько водевилей и в том числе «Гамлет Сидорович и Офелия Кузьминишна». Последний я должна была выучить как можно скорей, так как это была его любимая роль и он хотел играть ее во время дебютов.

Я пришла в ужас от массы куплетов, которые тут же стала пробовать под фортепияно. Первой мыслью моей было отказаться: я боялась испортить ему, так как никогда не играла пиес в два лица и знала, что это очень трудно. Притом же нужен был богатый маскарадный костюм турчанки, о котором при моем жалованье я и помышлять не смела. К. без церемонии накричал на меня, напал на отца, взял с него обещание дать мне денег на костюм и с терпением учителя принялся «долбить» со мной куплеты, а главное, интонации их, чего я тогда совсем не понимала, думая только о нотах. Решилась я играть и училась прилежно только из-за костюма, так как роль мне страшно не нравилась. Некоторые куплеты казались мне крайне скучными я не понимала их соли и просила К. пропустить их. Это выводило его из себя, а отец, присутствовавший при наших занятиях, тоже сердился и советовал К. бросить, так как «из этой упрямой дубины ничего не выйдет». Я, конечно, обижалась, но продолжала петь, глотая слезы.

Атлас для костюма стоил 24 рубля. Почти мое жалованье! .. Шила я его сама и сумела сделать очень красиво. Мучения мои увенчались громадным успехом — фуроров. А костюм обеспечил мою будущность. Губернатор сделал выговор Штрауху, что я так мало получаю при несомненном даровании и таких богатых костюмах и приказал дать мне бенефис и прибавить жалованья. Как описать мой восторг... Жалованья мне прибавили только 10 рублей. но — бенефис! .. Играть я стала все и каждый день. Про-

тив губернатора никто не смел идти, и за кулисами перестали меня теснить, тем более что К. стоял за меня. «Гамлет Сидорыч» стал репертуарной пиесой и часто ставился неожиданно, по желанию публики.

Я работала много и старательно и заметно привыкла к сцене, а куплеты стали моей сферой, тогда как прежде это было мое мучение. С редким терпением и строгостью К. следил за мной, и я его очень боялась, зато была в восторге от его похвалы и только ему верила. Когда мне приходилось играть без него, он садился в первую кулису, откуда доносились мне слова одобрения или брани, последнее чаще, и я его умоляла не смотреть, так как это меня страшно мучило. Он добивался (и успел) отучить меня от «кислоты», быть живой на сцене, что в особенности для водевилей необходимо. Все средства были хороши для этого. На сцене, не стесняясь публики, как будто в роли, он спрашивал,— кого я похоронила, или не болит ли у меня голова. Я краснела до слез, начинала горячиться и слышала: «Вот так, наконец-то». На репетициях при всей труппе он советовал отцу положить в мои башмаки сухой горчицы, чтобы я была поживей к спектаклю. Я злилась, дулась на него, но в спектакле помнила и выходило хорошо. Иногда я ненавидела его и всегда робела перед его взглядом на сцене. Мне так хотелось хорошо сыграть свою роль, а главное, ему не напортить. Его насмешки были так колки и так обидны! ..

Зима летела, я не замечала времени за шитьем костюмов и учением ролей. Настал день моего бенефиса. По совету К., я поставила «Доходное место» (по общему мнению, роль Полиньки должна была быть моим триумфом) и оперетку в два лица «Не бывать бы счастью, да несчастье помогло». С этой опереткой я пролила немало слез. Музыка прелестная и роль мне чрезвычайно нравилась, но один куплет чуть не свел меня с ума. По обыкновению, я стала учить с фортепиано и с помощью К., который уже играл свою роль много раз. Перед началом он предупредил меня, что один куплет я спою отвратительно со свойственной мне кислотой и что хотя зачеркивать куплеты не в его правилах, но этот он вычеркнул бы с удовольствием, да нельзя, так как исказишь смысл. Получив сразу нелестный комплимент, я, конечно, неохотно стала разбирать музыку и в душе решила «назло» хорошо спеть этот «противный»

куплет. Когда мы дошли до него, то задача, несмотря на твердое решение, оказалась мне не по силам. Этим куплетом высказывалось перерождение Жанетты и она с ужасом, шепотом, признавалась себе и публике, что «какое-то чувство волнует ей всю кровь и это — любовь». Передать этого я, по мнению К., никогда не сумею, так как ничто в мире не может «взволновать мою кровь», и у меня «нет чувства», и я только могу изображать в совершенстве первую половину роли, где Жанетта ходит, «как сонная муха».

Сначала я сердилась, но потом согласилась с ним и стала просить «выучить» меня, как передавать этот куплет. Тут уж гневу моего учителя не было пределов: «разве можно этому выучить», «как это глупо», «из вас никогда не будет актрисы», «вы всегда останетесь кислотой» и т. д. Я расплакалась, за что получила эпитет «нюни» и услыхала следующий вопрос:

— Если вы будете ныть так с каждой ролью, когда же вы сделаетесь актрисой и за что вам дали бенефис?

Это меня взорвало, я схватила ноты с пюпитра, бросила их об пол и решила не играть эту оперетку. На шум пришел отец и, узнав, в чем дело, заступился за меня.

— Ты уж очень много требуешь, она еще ребенок, как споет, так и ладно, лишь бы не фальшивила.

— То-то и дело, что будет фальшиво, потому что бессмысленная передача та же фальшь.

Три дня мы репетировали только «Доходное место», я не говорила с К. и решила не ставить оперетку, хотя страшно жалела об этом решении. Три дня он не был у нас, так как я не хотела учить роль. Отец стал сердиться (К. имел стол у нас и платил отцу помесячно). Я сама сознавала, что виновата перед К., я всем ему обязана, наконец обе пиесы идут в мой бенефис и в обеих он играет главные роли, без него спектакль немыслим: что если он откажется? Отец намекнул на это, выбранил меня и ушел из дому. Обедать пришлось одной, невыносимо скучно, стыдно сознавать свою невежливость... К. теперь будет наказывать меня на сцене; не обращает внимания, как я играю, я нарочно «кислю», вижу, что он злится... и все этот проклятый куплет! .. Проплакав весь день, я принялась в сумерки его разучивать и добиваться всячески какого-то особенного в нем смысла, но кончила слезами.

Спектакля как назло не было в этот вечер, и я начала сожалеть, что поссорилась с К. и вывела отца из терпения. Ложась в постель, решила завтра на репетиции заявить Каратыгину, что оперетта пойдет в мой бенефис и как-нибудь сыграть ее. К. принял мое решение очень холодно и предоставил мне поступать по усмотрению, обедать отказался, так как приглашен к Орловой, с которой он вздумал сыграть какую-то новую пиесу. Я вдруг возненавидела всем сердцем эту Орлову, сама не отдавая себе отчета, за что. Играла я вечером отвратительно и услыхала выговор от режиссера (по жалобе К.) за капризы. Жизнь мне была не мила, и все этот проклятый куплет... У К. была привычка давать какое-нибудь название актерам и у всех были свои клички. Меня он прозвал «чижичком» и перед выходом на сцену всегда давал «руку на счастье» и еще раз напоминал слабые места роли. Теперь я ничего не слыхала и «чижичек» шел петь с опущенными крыльями.

Бенефис приближался. К. стал опять обедать у нас, но, кроме насмешек, я ничего от него не слыхала, а учить роль вместе не смела думать. На мои вопросы относительно той или этой фразы, он отвечал: «не знаю», «как вам угодно», «вы сами должны знать», и мне дорого стоило удержать слезы. Я похудела и пожелтела за эти дни, что приписывала хлопотам бенефиса. Все меня бесило и в особенности поездка к губернатору: я была всем ему обязана и надо было его поблагодарить и отвести билет на бенефис. Я его не знала и приходила в ужас при мысли, что я буду там говорить. Ни новое платье, ни удивительная шляпка (для «Доходного места») меня не радовали, все было противно и вдобавок К. стал явно придираться на репетициях и задевать мое самолюбие, как бенефициантки, но спектакль шел своим чередом.

В день бенефиса, за обедом, он проговорился, что Орлова явно за ним ухаживает и что она «недурна»... Я чувствовала, как я краснела до ушей. Когда мы встали из-за стола, он протянул мне руку и сказал, что убежден в моем успехе сегодня и желает мне получить богатый подарок. От сердца немножко отлегло, я притворилась равнодушной, холодно поблагодарила его и ушла в свою комнату готовить костюм, а на самом деле посмотреть в зеркало, где отразилось такое счастливое лицо, что я, по обыкновению, запрыгала на одной ножке. Через несколько

времени К. простился со мной через двери, сказав: «До вечера. А куплет-то вы споете хорошо, чижичек, я в этом убедился». Костюм вывалился у меня из рук, долго я стояла на месте, ни о чем не думая, сердце сильно билось, а в ушах звенели последние слова К. Пришла горничная брать вещи, и я, усердно помолясь, отправилась в театр.

Как я играла Полину, не помню, не помню также, как получила цветы и часы (первый подарок на сцене!), не помню даже похвал К. (Потом это была моя лучшая роль.) [17] Все мои мысли сосредоточивались на водевиле — как я сыграю мою роль? «Доходное место» кончили, я переоделась, причем страшно почему-то торопилась и все как-то валилось с меня. К. устал от роли Жадова, и антракт растянули, что усилило мое нетерпение. Наконец, он вышел из уборной блестящим красавцем, в нарядном костюме и стал осматривать сцену. Я показалась себе невыразимо жалка рядом с ним, забыв, что играю деревенскую служанку, и чуть не заплакала. Напрасно я ждала «руки на счастье». Вместо ободрения моей робости, я увидела, как он подошел к Орловой и отвел ее в кулису, говоря ей что-то со смехом. В это время занавес поднимался, и я начинала пиесу куплетом:

Что так скучна Лизетта,
Что так бледна она? ..

Слезы стояли у меня в горле и застилали глаза. Хорошо, что публика рассаживалась по местам и не слыхала, как я ужасно фальшивила. Я чувствовала, что играть не в силах, а когда вышел К., я не решалась поднять глаз. (По пиесе я должна быть робкой деревенской девушкой — служанкой фермы, которую хозяин принимает за дуру и потом влюбляется в нее; все, конечно, кончается свадьбой.) Судьба покровительствовала мне: и робость, и вялость были совершенно у места. Среди пиесы есть дуэт, где на его слова: «я отдаю здесь приказания», я отвечаю: « я их готова исполнять». Теперь только я поняла, почему публика потребовала повторения этого дуэта (тогда я приписала красивой музыке). Я действительно «исполняла его приказания» и ходила по сцене, как очарованная. Публика приняла за «игру» то, что я переживала в эти минуты. Когда послышался аккорд знакомого «проклятого» куп-

лета, я без боязни начала его, хотя чувствовала откуда-то взгляд К. на себе. По мере того как я говорила под музыку слова:

Лицо мое пылает,
Волнуется вся кровь...
Что же это предвещает —
Неужели любовь?..

лицо мое действительно пылало, я дрожала, как в лихорадке, и с ужасом, закрывая лицо руками, опустилась на стул... Под звуки ритурнеля и гром аплодисментов я поняла значение этого злосчастного куплета и ни за что, ни за какие блага не могла бы повторить его, несмотря на громкие требования публики. К счастью, К. должен был выйти на сцену, и все пришло в должный порядок. Пиеса продолжалась, но смущения как не бывало, и я совершенно вошла в свою роль. Бедный «чижичек» был влюблен в полном смысле этого слова, и это поняла публика. Чувство мое отражалось на моем лице так же, как и мои пятнадцать лет. На другой день весь город знал об этом.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Он, конечно, угадал мое чувство раньше всех — да это было так легко. Мы не сказали ни слова друг другу, и я наивно думала, что он ничего не подозревает. Я позволила бы разрезать себя на куски, нежели признаться ему и услыхать насмешку. А в насмешке я почему-то была уверена. Он был ровно вдвое старше меня, рассказы о бурно проведенной молодости приводили меня в ужас и восхищали вместе с тем. Таланта выше его я не встречала, подобного ума и красоты тоже. Смелость его поражала меня: в моих глазах это был какой-то «рыцарь без страха и упрека». Публика его любила, дамы восхищались, товарищи относились к нему симпатично — мне казалось, что все должно склоняться перед ним. И вдруг я, маленькое создание, «чижичек», «ребенок», смею что-то к нему чувствовать. Разве он может обратить на меня какое-нибудь внимание? Он любит «красивых женщин» — я часто это слышала. А я? Я даже не женщина... Мне в голову не приходило назвать мое чувство любовью: это было обожание, поклонение и, главное,— безграничная вера в совершенство этого человека. Все, что не касалось его, казалось мне пустым и бессодержательным. Я говорила его языком, думала его мыслями, смотрела на все его глазами, а уж на сцене... скорее похожа была на ученую собачку, которая, смотря в глаза хозяину, проделывает свои штуки и дрожит от страха сделать что-нибудь не так. Мой мир был в нем, и он составлял для меня весь мир.

Время между тем шло заведенным порядком: с репетиции мы возвращались вместе обедать, потом шли гулять

на Губернаторскую улицу (отец всегда с нами), вечером спектакль, или у нас собирались знакомые, или учили новую роль. Я чувствовала себя в раю и больше мне ничего не было нужно. Иногда ночью я просыпалась и с ужасом думала, что будет, когда сезон кончится, и он уедет. Но тут же успокаивала себя, что это далеко и не надо об этом думать. Думала я много о том, как бы мне постом съездить в Смоленск к мамаше: теперь я «большая», получаю сама жалованье, неужели она будет обращаться со мной попрежнему? Дальнейшая жизнь с отцом меня пугала: он стал поговаривать о летнем сезоне в Бобруйске, а там, со свойственной ему беспечностью, я опять попаду в бродячую труппу и прощай искусство! Я жаждала большой сцены, большого города и... конечно, в самом тайнике моей души желала, чтобы в той труппе, где буду я, служил о н. Все эти мысли были эхом его слов. Все это он не раз доказывал отцу и при мне говорил, что он погубит мой талант и т. д. Последнее время о н стал говорить со мной иначе, чем прежде, «серьезно», как с «большой»,— это льстило моему самолюбию и давало повод думать, что, может быть, когда-нибудь, через несколько лет, я сумею ему понравиться. Но об этом лучше было не думать. В городе говорили, что мы жених и невеста, а злые языки не жалели моего доброго имени. Но так как все смотрели на меня, как на девочку, в особенности в труппе, то дурным слухам веры особенной не придавалось. Чтобы прекратить эти слухи или для другой цели, К. завел две связи, о чем знал весь город, а за одну из них ему грозил скандал. Он не скрывал этого, реже бывал у нас, и я знала имена обеих женщин. Мне было очень тяжело, но я почему-то не ревновала. Мне почему-то казалось, что он виноват передо мной, что я выше его и вдруг чувствовала к нему жалость. Раз как-то я пристально взглянула на него и, должно быть, в моем взгляде выразились все эти чувства, потому что он вдруг подошел ко мне и совсем несвойственным ему тоном сказал:

— Зачем вы так смотрите на меня? Вы знаете, что вам стоит сказать: «я хочу» или «не хочу», и я все исполню согласно вашему желанию.

Я не верила своим ушам и у меня губы задрожали от волнения, я не могла ничего выговорить... да и что бы я сказала? Он понял без слов. (Потом он говорил, что ни-

когда не видал меня такой хорошенькой, как в эту минуту.) Это было после обеда, мы должны были идти гулять и отец напомнил об этом. Я едва нашла в себе силы спокойно встать и пойти в свою комнату за шляпой. Придя туда, я бессознательно остановилась у двери, ничего не видя и смотря в одну точку. Вдруг над моей головой раздался голос К. (я не заметила, как и когда он вошел):

— Так вы не хотите, чтобы я так вел себя?

— Я не желала бы, чтобы о вас дурно говорили и обвиняли,— отвечала я.

— Скажите, что вы этого хотите.

— Я не имею права вам приказывать.

— Значит, вам все равно? Я сделаю что-нибудь хуже.

Я с ужасом посмотрела на него, и необычайный блеск его голубых глаз (которые я так любила и такими, как в эту минуту, никогда не видала) испугал меня: мне показался он таким злым, способным меня ударить в порыве досады. Не знаю, откуда у меня взялась храбрость, я чуть не громко сказала: «Я не хочу, чтобы вы видели этих женщин, не смейте...» Я не успела договорить — поцелуй зажал мне губы. Как это случилось — не помню, но поцелуя этого не забуду никогда. (Такого я не испытала никогда в жизни, хотя потом любила сознательно и горячо. Впрочем, первый поцелуй и первая любовь не повторяются.) В эту же минуту отец окликнул меня. К. исчез. Я дрожащими руками стала надевать шляпку и путала резинку в волосах, намеренно долго искала перчатки и вообще старалась оттянуть минуту выхода. Отец уже начинал сердиться, и К. из другой комнаты крикнул:

— Что вы копаетесь, чижичек. Если не хотите гулять, то останемся дома.

— Хочу, хочу,— отвечала я, угадывая другой смысл в его вопросе, и вся сияющая в своей барашковой шубке и шапочке вышла из комнаты.

Губернаторская улица казалась мне в этот день каким-то роскошным садом, грязный и дырявый тротуар, по которому мы шли, облаками, а гуляющая публика ангелами, такие у всех мне казались добрые лица. Все кружилось перед моими глазами, и мне казалось, что я упаду сию минуту. Споткнувшись об «облако» два раза, я просила отца дать мне руку, что он со словами «вот еще, что выдумала» предоставил К. Я не смела поднять глаз и на вопрос: «хо-

тите взять мою руку», безмолвно подала свою. Сразу я почувствовала, что больше не споткнусь и дойду твердо всюду, хоть на край света. (С этого дня мы постоянно ходили под руку.) Мы встретили знакомого, который разговорился с отцом, и мы невольно от них отстали. Проходя мимо какого-то кучера с богатой полостью на санях. К. вдруг сказал:

— Хотите мы сейчас, в виду всей публики и вашего отца, уедем, и никто не посмеет нас остановить? Скажите только «я хочу».

У меня сердце перестало биться от испуга: я ни минуты не сомневалась, что он сделает, как говорит, и... чуть-чуть не вскрикнула «хочу». К счастью, я удержалась и почти спокойно сказала:

— Как же вы можете взять чужого кучера?

Тотчас же я почувствовала, что сказала глупость, и что я опять ребенок, покраснела до слез и твердо решила говорить всегда «хочу», хотя бы и противно своей воле. С этого дня я жила новой жизнью, хотя внешность была та же. Самая обыкновенная фраза, сказанная мной или им, имела для нас особое значение и часто при отце мы решали вопросы, занимавшие нас несколько дней. Наедине оставались редко, да нам (по крайней мере мне) это не было нужно: все было ясно и все можно было сказать целому свету. Я была вполне счастлива. Сезон приближался к концу. Я уж не плакала по ночам, думая, что будет со мною, когда он уедет. У нас все было решено и условлено.

Но для того чтобы прийти к такому решению, нужно было говорить без свидетелей, и он придумал, вместо гулянья по Губернаторской, ездить кататься раз в неделю. Сначала отец не позволял, но мы напали на него. Я наслушалась от К. о новых воззрениях, прочла несколько «умных» книг, а новые идеи, «самостоятельность», «эмансипация» и проч. громкие слова были отчасти мне знакомы (я даже попробовала курить — «это необходимость для современной девушки», но бросила). Всем этим, конечно, я не преминула огорошить отца, из лени даже газет не читавшего, и кончила мой монолог словами, что «в наше время девушек не запирают и оказывают им больше доверия». Результатом было позволение, и мы им, конечно, воспользовались.

Сани уносили нас по пустынным улицам по рыхлому снегу, и мы (я, по крайней мере) не замечали времени. Тут-то зрели планы один заманчивее и опаснее другого. Решено было, что будущую зиму мы служим вместе в большом приволжском городе, куда он приглашен уже. Он сделает за меня условие; если отец не захочет ехать, то я отправлюсь одна (последнее лучше). Я должна достать вид от отца и играть там под другим именем. Во всем этом было для меня что-то неясное, но, не смея противоречить и уверенная, что «так будет лучше», я со всем соглашалась, но настояла на необходимости съездить к матери, на что у меня были отложены деньги с бенефиса. Отец хотя и ничего не имел против моей поездки в Смоленск, но я была уверена, что по отъезде К. я лишусь своей самостоятельности и отец не пустит меня. Притом же К. постоянно дразнил меня, что у меня не хватит духу решиться на что-либо, что я «синица, вздумавшая зажечь море» и т. п.. Всевозможными примерами я старалась доказать, что у меня есть характер и не замечала, что поддавалась всем его капризам и желаниям. Стоило ему сказать слово — и я отказывалась от роли (что считала святотатством), которая ему не нравилась. Последнее время мы почти не гуляли, а катались, потому что он ловил меня на слове: «Ведь вы трус — без позволения папаши не поедете». Этого было довольно, чтобы я, не отвечая ни слова, садилась на первого попавшегося извозчика. Только моя наивность не позволяла мне угадывать, что он вертел мной, как игрушкой. Я чувствовала, что поступаю нехорошо, что обо мне могут подумать дурно, но совесть моя была чиста, а он был более чем сдержан. Некоторые его взгляды, резкие выходки, фразы были мне не по душе, но даже себе я стыдилась в этом признаться и думала, что я не могу понять его, потому что глупа. Ни о любви, ни о свадьбе не было произнесено ни слова. Все разговоры и мечты сосредоточивались на совместной службе и громадном будущем, которого я должна ждать от театра. У него был сын одного с чем-то года от очень хорошенькой девушки — швеи (я видела портрет), жившей в имении его матери, которого он очень любил, а о ней часто говорил. Это меня смущало, и я часто задавала себе вопрос, что будет с ней, когда мы будем служить вместе. Еще меня пугало неверие: он был или хотел казаться атеистом. Это казалось мне страшным грехом и не то что отталкивало меня,



А. И. Шуберт. 1871 г.

П. А. Стрепетова.
1871 г.



В. В. Самойлов. 1875 г.



В. Н. Давыдов
и П. М. Медведев.
1871 г.

но заставляло еще больше бояться его. Под конец я решила, что это выше моего ума и перестала думать.

Настал день его отъезда. После масленицы, с ее двойными спектаклями, благотворительными базарами, маскарадами, блинами... настала первая неделя поста, скучная и мучительная... Он должен был уехать во вторник, но откладывал день за день и, наконец, уехал в конце недели. Чего мне стоило не заплакать? Он ободрял меня всячески и удержал мои слезы только тем, что если отец узнает, то тогда все пропало. Он, очевидно, сам боялся отца. Провожатых было много, и это тоже помогало скрыть мое горе. В числе маленьких актеров был молодой симпатичный человек М.,[18] без памяти влюбленный в меня и обожавший К. С проницательностью любящего он угадал нашу тайну, и, уезжая, К. поручил ему меня, а мне сказал, что если я получу депешу, по которой мне необходимо будет ехать и я не в силах буду этого сделать, то М. привезет меня и вообще у него все инструкции.

— Впрочем, ведь вы синица и моря не зажжете,— были его последние слова, и лошади умчались.

Минск, милый Минск мне опротивел. Единственное родное существо в нем был для меня М., с которым я могла говорить о нем. Скучно, томительно прошла неделя, к концу которой М. принес мне письмо от К. Он писал, что остановился на неделю — на две в ближнем большом городе, где у него было много друзей, по делам и оттуда поедет заключать наш контракт, а затем в деревню. Мне стало еще скучнее. Через два дня отец объявил, что отправляется в Бобруйск для переговоров о снятии театра на свое имя и с пасхи мы там начнем играть. О моей поездке в Смоленск нечего и думать. Как я предчувствовала, так и случилось. В какие-либо, а тем более в антрепренерские способности моего отца я не верила и видела предстоящую погибель. После крупной сцены с отцом я долго плакала, но помочь делу не могла. Он решил ехать на другой день и требовал деньги, спрятанные мной от бенефиса. Я отдала, оставив себе 50 рублей, но он нашел, что этого мало, и продал часы, поднесенные мне в бенефис,— первый подарок от публики. Это показалось мне верхом варварства и решило мою участь.

Когда отец уехал, я послала за М., объявила ему, что тоже еду в Смоленск, как только соберусь, и просила его

нанять мне лошадей. Бедный М. совсем растерялся и не верил своим ушам и попробовал отговорить меня, просил хоть подождать обещанной К. депеши. На это я ответила, что еду к матери, а не к К., рассердилась и чуть не прогнала его. После этого я стала поспешно укладываться, сказав прислуге, что еду к отцу и через неделю мы вернемся вместе.

Утром М. пришел сообщить мне, что до первого железнодорожного города (где остановился К.) есть попутчик и я могу ехать сегодня же. Я чуть не поцеловала его за эту новость. Вечером М. снес на телеграф депешу, подписанную «Синица», в которой я извещала К. о своем отъезде. Он умолял меня на коленях не посылать этой депеши и проехать прямо на вокзал, не видавшись с К., иначе я «погибну». Но желание «показать характер» заглушило во мне рассудок, и депеша отправилась по назначению. М., один М. проводил меня и усадил на перекладную с каким-то неизвестным рыжим господином (очень любезным и умным, как оказалось потом). М. плакал от горя, что не увидит меня больше, от ожидающей меня погибели и приходил в отчаяние от моей храбрости — ехать ночью с неизвестным человеком... Все это только придавало мне смелости, и я смеялась чуть не до истерики. Мысль доказать К., что я и без него могу поступать «умно», приводила меня в восторг, а об опасности я старалась не думать. Когда лошади двинулись, М. бросился к нам с воплем, прося взять и его. Я, с жестокостью, самой мне непонятной, оттолкнула его руку, уцепившуюся за мое пальто, и крикнула ямщику: «Гнать». Я не хотела спасения и летела куда-то в пространство, в пропасть. «Я еду в Смоленск, а если останусь в том городе, где К., стало быть, так судьбе угодно». Так я решила, но судьба меня берегла и устроила все иначе.

Сколько длилась дорога — не помню, но я болтала все время и удивляла своего спутника неисчерпаемой веселостью. При въезде в город мы расстались, а я направилась прямо к знакомой гостинице и, спросив дома ли К., постучалась в его номер. Он несколько дней лежал больной, и я застала его окутанным пледами на диване с сильно осунувшимся лицом. Удивлению его не было границ: он не верил своим глазам, ушам... Депешу мою он принял за шутку и тотчас послал письмо о своей болезни, которое я не получила. Когда я рассказала все, что произошло после него,

и мою поездку, он только приговаривал: «Ай да чижичек, молодец». Мне отвели номер в том же коридоре. Обедали мы вместе, и завтра я должна была продолжать путь.

Я очень устала от дороги, но это не помешало мне отправиться вечером в театр, где все товарищи К. рассматривали меня с особенным любопытством. С одной из актрис он меня познакомил, назвав меня моим новым именем, под которым я должна была играть будущую зиму. Все это немножко стесняло меня, но я решилась быть храброй, а главное, не подавать повода к его насмешкам.

На другой день, несмотря на его болезнь и запрещение доктора, мы выехали: он непременно хотел проводить меня до Витебска. Денег у меня не хватило бы, и он предложил мне их в счет «будущего контракта», заметив при этом, что уж теперь я не имею права отказаться, так как он от имени антрепренера дал мне задаток. Мы выехали. Дорогой, не смыкая глаз, велась оживленная беседа о будущем. Каких только планов не строили... Конечно, условились писать аккуратно «до востребования» на мое новое имя. Он мимоходом намекнул, что к зиме будет совершенно «свободен от своих обязанностей» и от меня будет зависеть его дальнейшая жизнь. На этой туманной фразе я должна была строить свое будущее. Мы расстались уверенные один в другом, с сожалением, но без печали, в ожидании скорой встречи.

Со следующим поездом я поехала в Смоленск. Когда поезд тронулся, я почувствовала, что какая-то гора свалилась с моих плеч, и я не знала, кого благодарить — бога или К. за спасение от миновавшей меня опасности. Предсказания М. не сбылись, и мой идеал остался на высоте. Я ликовала, что не ошиблась в его честности и убедилась окончательно в его любви. А между тем я ошибалась жестоко, как только могут ошибаться девушки в эти годы, да и то тогда. Теперь такие наивные существуют только в сказках и возбуждают смех. Мамаша встретила меня сочувственно и крайне одобрила мой поступок, говоря, что с отцом я бы погибла. Мой побег ставился мне в подвиг, и я успокоилась, написав отцу, что навсегда остаюсь у мамаши, и что если он хочет меня видеть, то пусть приедет и живет с нами. (Уезжая из Минска, я оставила ему письмо, где объявила о своем решении «не путаться по захолустьям» и попробовать ужиться с матерью.) Сестра за мое отсутствие очень развилась и смот-

рела совсем взрослой девушкой: она командовала всем домом, и мать, очевидно, подчинялась ей. Она поминутно вскрикивала:

— Какая ты хорошенькая!.. Ты отобьешь у меня всех поклонников!

Мамаша снисходительно улыбалась и подтверждала, что Лене, несмотря на ее тринадцать лет, уже сделали два предложения и все убеждены, что ей скрывают лета. Она несколько раз играла на сцене роли «больших» в водевилях и имела успех. Она перемерила все мои костюмы и платья, поражаясь моему богатству и вкусу; ботинки показала всем знакомым. «Посмотрите, какая у Мани маленькая ножка»,— кричала она на весь дом. Она объявила тоном, не допускающим возражений, что ей пора надеть длинное платье, так как она на вид старше меня, а я уже ношу, и, когда я подарила ей два из моего гардероба, восторгу ее не было границ.

Из минских писем моих они знали, что К. служил там. Мамаша стала расспрашивать о нем, что с ним, куда уехал и т. д. Я сказала, что он уехал в деревню и, распространяясь об его успехах на сцене, умолчала об остальном. Когда мы ложились спать, Лена легла на мою кровать и сказала: «Ты, верно, влюблена в К., недаром ты такая кислая. В него нельзя не влюбиться, я его помню: он такой красавец. Мама до сих пор им восхищается». Мне оставалось только признаться ей во всем, что я и сделала с удовольствием, потушив предварительно свечку. Долго, до рассвета шептались мы, и я была в восторге, что нашла в сестре друга, которому могла поверить свою тайну. На другой день Елена была в каком-то праздничном настроении: она знала «тайну», переглядывалась со мной особенным образом и командовала в доме еще больше. После обеда мы, под видом прогулки, отправились на почту и получили письмо, лежащее там уже со вчерашнего вечера. Лена сгорала от любопытства, но совершенно разочаровалась, узнав содержание письма. Она ждала страстного послания, «как в романах», а вместо этого К. писал, что навестил свою матушку и отправляется опять в путь для переговоров о контракте, советовал продолжать быть «умной», «не киснуть» и обещал писать часто. Письмо было без подписи, что меня удивило и немножко обидело, а Елена вдруг вскрикнула:

— Какое глупое письмо! Не может быть, чтобы это писал К., такой красавец и умница! Ты врешь — это кто-нибудь другой.

Я тотчас же ответила на письмо и начала его упреком за отсутствие подписи, на что получила ответ: «так надо», «хоть вы стали умнее, но не очень, и многого не понимаете». Почему «так надо» — я <не> отдавала себе отчета, но успокоилась.

Прошло несколько времени... С матерью были маленькие стычки, но Елена восстановляла мир. «Что вы на нее кричите? Ведь она уж большая»,— и я жила спокойно, ожидая чего-то. Явился у меня поклонник, молодой человек девятнадцати лет, и Лена, да и все в доме стали звать его шутя моим женихом. Он по целым дням был у нас, и я безбожно с ним кокетничала. Это избавляло меня от необходимости быть часто с нашим жильцом (отвратительная личность, которую весь дом ненавидел) и слушать его ядовитые намеки. Он постоянно наущал мамашу присматривать за мной хорошенько и «не распускать барышню». Делал невозможные предположения относительно юноши «жениха» и доводил меня до слез. Мамаша иногда противоречила ему, но большею частью соглашалась, и тогда он изливал свою желчь безнаказанно. Я явно показывала ему свою ненависть, из-за чего начались истории каждый <день> и преимущественно за столом. Каждый мой кусок был отравлен и почти всегда я не кончала обеда. В день получения писем от К. я ни на что не обращала внимания, старалась отшучиваться, потому что на душе было весело, а это вызвало подозрения, а может быть, и Лена выдала.

Приближался день моего рождения — мне будет шестнадцать лет.[19] Это совпало с днем светлого воскресения. Накануне я получила письмо (Лена потихоньку бегала на почту), в котором К. поздравлял меня с днем рождения и вместо подарка посылал копию с контракта, который подписал за меня. Я должна была явиться на службу в первых числах августа, сезон начинался 15-го, играть первые роли в водевилях и комедиях, получать 125 рублей в месяц, два бенефиса и дорогу туда. Условия по тому времени блестящие. Вдобавок К. назначен был режиссером, стало быть, моя участь за кулисами обеспечена. Было чему порадоваться! Я перечитывала письмо поминутно, и Лена решила, что тоже поедет со мной. Положив руку в карман на письмо.

я прилегла на кровать помечтать в темноте, дожидаясь заутрени, и не заметила, как заснула. Когда меня разбудили, я торопливо сбросила с себя платье, переоделась в другое, отправилась со всеми в церковь, усердно, до слез молилась, возвратилась усталая и, отказавшись разговляться, заснула крепким безмятежным сном. Встала я поздно, в 11 часов, долго, с особенным тщанием одевалась, не подозревая, какой подарок ждет меня, и вышла уже к завтраку. Мамаша не поздравила меня, и я заметила, что она не в духе. Жилец подошел христосоваться, я, конечно, отказалась, и с этого началось. Мать набросилась на меня: «Что ты нос дерешь! Что ты о себе воображаешь!», а тот подливал масло в огонь.

Мне не шел кусок в горло. Сестра, против обыкновения, молчала. Я сдерживалась, сколько могла, но вдруг, среди брани матери, до меня долетело слово «режиссерша». Я вся похолодела. Лена убежала из комнаты и, возвратясь, показала мне знаками, что письма в моем кармане нет. Я поняла, что мать узнала все, и начала возможно спокойным тоном доказывать, что дурного я ничего не сделала и так оскорблять меня не за что, а читать чужие письма не следует.

— Слышите? Да ведь ты дочь мне!

— Вот какие времена настали, Марья Петровна,— шипел мой враг.

Я попросила его не мешаться не в свое дело.

— Помилуйте, я слишком уважаю вашу матушку: вы заводите любовников в ваши лета, а она ничего не будет знать.

Юноша, присутствовавший при этом, бросился к нему с криком:

— Как вы смеете говорить так про Мар<ию> Гавр<иловну>!

Тогда этот негодяй вытащил письмо К. из кармана, спокойно сказал:

— Это письмо явно доказывает мои слова.

Теперь я холодею, вспоминая эту минуту. Все замолчали, я чувствовала, что в глазах у меня темнеет, но собралась с духом и подошла к нему, желая вырвать письмо из этих поганых рук.

— Вы украли мое письмо — это подло. Вы негодяй!

Не успела я кончить, как мать дала мне пощечину, от

которой я зашаталась. Что было потом — не знаю. По рассказам Лены, мать была вне себя, «хотела тебя убить и все из-за этого проклятого. Уж отравлю я его когда-нибудь!» и, если бы «жених» не заслонил меня и не вытащил из залы, бог знает, чем бы это кончилось. Невесело я встретила мою шестнадцатую весну. Я заболела чем-то вроде нервной горячки. Бредила долго и много. Около меня были только Елена и старая няня, да «жених» приходил узнавать каждый день по черному ходу о моем здоровье. Мать запретила ему бывать у нас. Сама она, по совету няни, не входила ко мне, но громко кричала, что не верит моей болезни, что это капризы и что меня надо высечь. Все это Елена рассказала, когда я пришла в себя и со слезами умоляла взять ее с собой куда-нибудь, вон из этого дома. Наконец, один раз мать не выдержала, вошла ко мне, и тяжелая сцена повторилась, но преимущество было на моей стороне. Я совсем не помнила себя, и кричала, как исступленная. Мать гнала меня из дому, говоря что не намерена «кормить дармоедку и развратницу». Упрекнула меня побегом от отца (чем недавно так восхищалась) и даже выразила сомнение, не выгнал ли он меня. Намекнула на мою связь с К. и т. д. Мне казалось, что я схожу с ума, и, если бы меня не удержали, я выбежала бы на улицу в одной рубашке. Истерика утомила меня, и я заснула. На другой день я узнала, что мать ушла к знакомым, у которых есть какое-то место для меня. Я ломала голову, придумывая, что бы это могло быть. Вечером Лена все узнала.

В Смоленске служил актер Шатилов, который женился на дочери исправника Алмазова, а с Алмазовыми мамаша была давно знакома. Шатилов получил место режиссера в Харьковском театре и не сегодня-завтра должен был уехать. Он меня видел и на просьбу мамаши поместить меня в харьковскую труппу отвечал полной готовностью и тотчас же написал туда. С каким нетерпением и замиранием сердца я ждала ответа и как дрожала при мысли об отказе. Болезнь моя продолжалась, благодаря волнению, и я почти не покидала постели. Друзей моих — Скюдери — не было в Смоленске: Александровская окончательно разорила Петра Петровича, и красавица Катенька жила в деревне, а младшая дочь чуть ли не ушла в монастырь. Время тянулось бесконечно долго. Описав К. все, что случилось.

я долго не получала ответа и еще больше хандрила. Мне казалось, что я зарыта живой в могилу.

Наконец, явился Шатилов с радостной вестью: я принята на вторые роли, 50 рублей в месяц, дорога и полубенефис. Через несколько дней приедет актер Савин, набирающий труппу для Харькова по поручению антрепренера. Савин оказался знакомым мне по рассказам К. Они служили вместе и были большими друзьями. К. восхищался умом, образованием и красотой Савина и рассказывал чудеса об его похождениях. Он был из очень хорошего семейства и служил во флоте, куда поступил из училища правоведения. Быв уже мичманом, он был послан с казенным грузом в Америку и, остановившись для починки в Рио-Жанейро, прокутил там около 40 тысяч казенных денег. Его арестовали, посадили в Петропавловскую крепость, судили и лишили чинов с запрещением вновь поступать на службу. Отец проклял его или запретил называться его именем и являться к нему — не помню хорошо. Он поселился в Кронштадте, где прежние товарищи помогли ему определиться на какую-то службу, так как он попал под манифест и ему был возвращен чин коллежского регистратора. Он получал около 12-ти рублей в месяц, но находил возможность бывать часто в театре, где играла молодая труппа только что выпущенных воспитанников императорского училища под предводительством покинувшей сцену актрисы Читау. Было много талантов, в том числе чета Козловских: муж был отличный музыкант, а впоследствии хороший опереточный актер, жена играла первые роли и была любимицей публики. Савин влюбился <в нее> со всем пылом своих двадцати трех лет и вздумал поступить на сцену. Читау, нуждаясь в jeune premier, предложила ему 75 рублей в месяц, что было гораздо больше получаемого им. Он дебютировал с успехом (товарищи поддержали) и стал актером. Козловские переехали в Вильно, и он за ними; так продолжалось несколько лет. Теперь они были вместе в Харькове. Его любовь не гасла, несмотря на холодность Козловской, которая обожала своего мужа. И этот-то человек повезет меня в Харьков! Друг К. и такой интересный... Я ждала его с нетерпением.

Был жаркий день в конце апреля, я все еще не вставала с постели, как вдруг раздался звонок, кто-то вошел, и через несколько минут мать вбежала с испуганным лицом и про-

шептала: «Отец приехал». Я, в чем была, бросилась в переднюю и обняла стоявшего там мужчину, но тотчас же, вскрикнув, убежала, увидев, что это чужой. Мать вышла к нему, и мы с сестрой стали смотреть в щелку двери, и я разглядела полного мужчину, пожилого и далеко не красивого. Мы спрашивали одна другую, кто это. Лена решилась узнать и через несколько минут влетела ко мне с криком: «Да это Савин приехал за тобой, иди, одевайся скорее! ..» Она посоветовала надеть черное платье, которое придавало мне солидности и было очень к лицу, а в особенности при теперешней бледности. Волосы причесывать было некогда — они остались распущенными, я только подобрала их круглым (детским) гребешком и, накинув плед, так как меня била лихорадка, вышла к Савину. Он очень удивился и, с нескрываемым любопытством смотря на меня, сказал: «По описаниям нашего общего друга К., я думал, что вам, по крайней мере, лет двадцать пять — двадцать шесть, а вы совсем юная». Мамаша не замедлила сообщить, что месяц тому назад мне минуло шестнадцать. Я сильно разочаровалась наружным видом «интересного» Савина. Он спешил и, заставив меня подписать условие, сказал, чтобы я ждала депеши, получив которую, приезжала бы прямо на вокзал, что будет через три дня, не позже. Он ехал в Вильно за хористками для харьковской труппы и по дороге мог захватить меня. Все случилось, как он сказал. Лена очень плакала при расставании. С матерью я простилась холодно: чувство злобы не покидало меня. Каким образом письмо попало в их руки — я до сих пор не знаю. Шатилов, по просьбе матери, согласился на то, чтобы я жила у них и платила за это 25 рублей в месяц. На остальные 25 рублей я должна была одеваться и вообще существовать, да еще мать наказывала высылать ей что-нибудь. Бумагу она дала мне от себя. В ней было сказано, что без позволения Шатиловых я не смею ступить шагу, и еще много глупостей, но я твердо верила в силу этой бумаги.

Дорогой мы с Савиным, конечно, много говорили о К., и я заметила, что он предполагал более того, что было на самом деле. «К. отличный товарищ, милейший человек,— сказал он,— но он погубит свою жену. Впрочем, он никогда не женится — это не в его правилах». Слова эти очень поразили меня, и разговор о К. прекратился.

<ДЕБЮТ В ХАРЬКОВЕ>

Мы приехали в Харьков ночью, чуть ли не в 3 часа, и Савин поместил нас всех (трех женщин и столько же мужчин) у себя до завтра. Утром пришел за мной Шатилов, и мы отправились домой, а потом к директору. Мои товарки по пути были разодеты по последней моде и блестели золотыми украшениями, почему я поняла совет Шатилова «не знаться с ними». Директор Ник<олай> Никол<аевич> Дюков показался мне очень суровым, а труппа поразила своим огромным количеством: мне показалось, что я теряюсь в каком-то непроходимом лесу и, почти цепляясь за Савина, как за единственного близкого мне человека, просила его со слезами не оставлять меня одну. Этот первый памятный день был 5 мая 1870 года.

Мои мечты попасть в большой настоящий театр сбылись, но я чувствовала себя совершенно несчастной. Я решила, что одной служить невозможно и что я пропаду так или иначе. А К. был далеко и писем тоже не было, хотя я сообщила о моем переезде в Харьков. Мое положение в труппе определилось: я попала в число хористок и на другое утро репетировала, т. е. стояла в хоре в оперетте «Прекрасная Елена». Это меня убило. Я ушла со сцены в слезах и умоляла Шатилова избавить меня как-нибудь от этого срама, но он ничего не мог сделать, так как не был больше режиссером и его место занимал Лентовский,[20] голос которого доносился до меня со сцены и показался мне особенно противным. Он пел куплеты Париса: «Три богини в роще темной». Вечером, в спектакле, я встретила Савина,

рассказала ему мое горе, но он мог только помочь мне советом обратиться к самому Лентовскому, так как он с ним был в ссоре. Скрепя сердце я подошла к этому «ужасному» Лентовскому, о котором уже успела услыхать много дурного, и заявила мое желание сыграть что-нибудь, а если будет плохо, то остаться в хоре. Он, хотя сухо, но внимательно отнесся к моей просьбе, обещал просмотреть мой репертуар и при первом удобном случае назначить дебют. У меня отлегло от сердца. На другой день была репетиция оперетки «Все мы жаждем любви», и меня опять назначили в хор. Прочитав тетрадку, по которой я должна была учить слова, я узнала, что на мне должен быть костюм «дебардера». Я не поняла, что это такое, так как опереток до сих пор не видала, и обратилась с вопросом к одной из хористок. «Неужели вы не знаете?» — спросила она и принялась объяснять. Судя по ее словам, надо было быть почти раздетой (что ей, очевидно, очень нравилось), но я не поверила ей и решилась узнать у кого-нибудь другого. Репетиция началась, и я увидала вблизи всех первых персонажей труппы: Дубрович (дочь Дюкова, игравшая все первые роли), Ф. Козловская, Воронина, Акинфьева, Мартынова (дочь знаменитого актера), Большаков, талантливейший комик, муж Козловской и другие. Савин, по моей просьбе, представил меня Козловской. Я выразила ей мой восторг по поводу ее вчерашней игры. Она не обратила на меня особенного внимания, но спросила, правда ли, что я служила с К., ее бывшим товарищем. Она чрезвычайно мне понравилась. Лентовский объявил, что через три дня я буду играть комедию в одном акте «Капризница».[21] Я ужасно обрадовалась, так как играла ее с большим успехом в Минске и это была одна из любимых мною ролей. Ее назначили после большой комедии «Слово и дело», вместо водевиля, и я боялась, что она окажется в конце слишком сухой, да и публика разъедется, на что Лентовский заметил мне, что мой первый дебют будет судить не публика, а он. Обставил пьесу второстепенными, не интересными актерами, только жениха, пустую роль, играл Савин. С Лентовским они были на ножах, и Савин хотел швырнуть эту роль ему в лицо, но согласился играть только для меня.

Я вышла на сцену почти в 12 часов ночи, сбор был очень плохой, но почти вся труппа разместилась по ложам.

что крайне меня смутило. Сначала я робела до потери сознания: от этого спектакля зависело мое будущее и мне казалось, что я играю невыносимо плохо. Когда я ушла первый раз со сцены (в Минске всегда с аплодисментом), я решила, что с моей стороны было большой смелостью играть на такой большой сцене и что все смеются надо мной. Лентовский был за кулисами и, видя мое расстроенное лицо, приписал это робости и стал ободрять меня. Но когда я высказала ему все, что думала, обвинила его за небрежную обстановку и проч., он увидал, что я близка к отчаянию, а играть совсем не в силах. Помощник подбежал ко мне: «вам выходить», рыдания душили мне горло, а Лентовский почти грубо вытолкнул меня на сцену. Я говорила какие-то слова, ничего не понимая, как вдруг увидала голову Лентовского у своих ног и услыхала его голос: «Хорошо, хорошо». Он сел в суфлерскую будку и стал суфлировать. Актеры «подобрались», и пиеса пошла живее. Я увлеклась, слышала одобрительный шепот Лентовского и получила аплодисмент.

На другой день в труппе говорили, что я «подаю надежды», а Лентовский решил, что моим «элементом на сцене будет каприз». Тем не менее все это не повлияло на мое положение, и я через несколько дней выходила в костюме дебардера, в пудре, в числе хористок, в оперетке «Все мы жаждем любви». Канканировать я еще не умела и стояла, что называется, столбом, но обращала на себя внимание наружностью: костюм и в особенности пудра очень шли мне. Большаков вздумал за мной ухаживать и, с разрешения Шатилова, сделал мне предложение. Шатилов и его семья очень уговаривали меня, а Большаков поражал всю труппу своим беспримерным поведением: перестал пить, стал одеваться к лицу и «ухаживал» в полном смысле этого слова. Я обещала подумать и присмотреться к нему. Он провожал меня из театра каждый день с Шатиловым, а иногда и один, бывал у нас каждый день, а в театре все называли меня его невестой. В это время пришло письмо от К., где он очень резко выговаривал мне за мою поездку в Харьков, а главное, за подпись контракта, когда другой подписан им уже от моего имени, высказывал подозрение, что я изменилась к нему или кто-нибудь наговорил про него, «а может быть, и Савин. Вас ведь так легко сбить с толку». Нечего и говорить, что это письмо крайне разогорчило,

обидело меня, и я в первый раз подумала, что он «не имеет права» так говорить со мной. Я решила помедлить с ответом, а между тем вот что произошло. На одной из репетиций ко мне подошла какая-то дама и, назвав себя актрисой Б.,[22] сказала, что имеет сообщить мне что-то важное. Я изумилась, но последовала за ней в глубь коридора, где она, убедившись, что нас никто не слышит, начала уговаривать меня отказаться от брака с Большаковым, так как для этого он бросил ее с ребенком и он «негодяй», «подлец» и т. д. «К тому же, на днях он должен идти в солдаты». (Последнее меня в особенности поразило: я буду солдаткой!) Все это она говорила, захлебываясь слезами, и расстроила меня совершенно. Я тоже расплакалась и уверила ее, что брак этот только предположение и что теперь уж я ни за что не соглашусь. Она меня расцеловала, и мы вернулись на сцену.

Тотчас же в кулисе я натолкнулась на Большакова. Увидя мое расстроенное лицо, он с беспокойством спросил о причине. «Вы бросили Б., у вас есть ребенок... вас возьмут в солдаты... не смейте подходить ко мне...» — бормотала я, опять заплакав, и убежала из театра.

На другой день Шатилов бранил меня и сказал, что Б. ужасная «дрянь», сама давно бросила Большакова и живет с рецензентом местной газеты и устроила весь этот скандал, чтобы насолить Большакову. Я не смела показаться за кулисы, боясь объяснений с ним, к тому же он запил (не мог играть, через что спектакли менялись) и обещал побить при всех Б. Шатилов и его семья дулись на меня, и я не выходила из своей комнаты. Савин зашел узнать, в чем дело, успокоил меня, говоря, что я беру на себя слишком большую ответственность, и посоветовал идти в театр, а от Большакова, да и вообще обещал защитить меня. «Тем более что это моя обязанность: ваша матушка поручила вас мне»,— добавил он.

Я последовала его совету, но за кулисы не пошла, а сидела весь спектакль в ложе с хористками. В разговоре они упомянули о Савине и очень хвалили его, а я подтвердила, говоря, что если бы не он, то я бы пропала совсем и что это в полном смысле порядочный человек. Этим словам, очевидно, придали иное значение и через несколько дней начались намеки на ухаживание Савина (а я почти его и не видала). Это меня возмутило, и я пожаловалась Шати-

лову, а тот передал это Савину. Он опять просил не придавать значения сплетням и объяснял их завистью.

— Вы единственная порядочная девушка в труппе, держите себя прилично, и они не могут этого переварить. Впрочем, если я вас компрометирую, то и не подойду к вам, но, право, не стоит на них обращать внимания.

Я опять послушалась его и немного успокоилась, еще раз придя к заключению, что «одной» быть за кулисами немыслимо, или по меньшей мере очень трудно, и решилась завтра же писать К. и просить совета, как поступать дальше. Но не суждено мне было отправить это письмо. Вечером, проходя в антракте из ложи за кулисы, я встретила Б. под руку с ее рецензентом; я поторопилась ответить на их поклон и проскользнуть дальше, считая для себя неприличным разговаривать с ними, как вдруг услыхала:

— Здравствуйте, Машенька, куда вы так торопитесь?

Не веря своим ушам, я оглянулась, но, кроме нас троих, никого не было, и приветствие было обращено ко мне рецензентом. Дрожащим голосом я заметила, что, кажется, не давала ему права называть меня уменьшительным именем и нахожу это дерзким. Не дойдя до кулис, я забилась в пустую ложу (первую от сцены) и залилась там слезами. Занавес подняли, чего я не заметила, и меня могли увидать из-за кулис актеры. Так и случилось. Через несколько времени я услыхала стук в двери, и Савин вошел, спрашивая, почему я сижу одна. Увидав мои слезы, он, конечно, начал допрашивать о причине. Долго я не решалась сказать, наконец, захлебываясь от рыданий, передала все, как было. Савин сжал кулаки и сказал:

— Ну, поплатится же мне эта каналья. Давно я хотел его побить.

Я испугалась скандала и умоляла не затевать ссоры: уж тогда, бог знает, что обо мне скажут.

— Не беспокойтесь, вы только предлог: у меня с ним давно свои счеты,— ответил он и, проводив меня домой, отправился догонять рецензента, шедшего с Б. к ней.

На вопрос Савина, как он смел назвать меня «Машенька», рецензент ответил: «Я не знал, что она ваша любовница, иначе я не сказал бы». Савин на это ударил его палкой по лицу и изуродовал ему глаз. Б. упала в обморок,

полиция составила протокол: скандал на весь город. Все это я узнала на другое утро и не осушала слез весь день. К вечеру я решила просить Дюкова отпустить меня, так как жить в Харькове не считала возможным. Только что собралась сообщить это решение Шатилову, как он сам показался в дверях и, сурово сказав: «г. Савин желает переговорить с тобой», захлопнул их, пропустив Савина. Я растерялась от этого тона и от присутствия Савина в моей комнате (его всегда принимали в гостиной) и не знала, с чего начать. Он вывел меня из затруднения.

— Вы, верно, слышали о вчерашней истории, простите, что я не исполнил обещания не начинать ссоры. Но вы, вероятно, не знаете еще конца. Этот негодяй осмелился оскорбить вас еще раз при мне и свидетелях, и я должен был сказать, что вступаюсь за честь моей невесты. Согласны ли вы подтвердить мое заявление?

Если бы гром разразился над моей головой неожиданно,— я не так бы испугалась. На меня напал столбняк: я ничего не понимала и ничего не ответила. Когда я пришла в себя, Савина уже не было, а Шатиловы (дамы), очевидно, ничего не знали. Я подумала, что видела все это во сне, и молчала, хотя косые взгляды Шатилова меня тревожили. На другой день Савин письменно возобновлял свое предложение и уведомлял, что рецензент подал жалобу в суд. Еще этого недоставало!.. Мое имя будет фигурировать в судебной хронике. Я опять ничего не ответила и решила подумать, о чем сообщила вечером в театре Савину. За кулисами только и было разговору об истории, и мое имя слышалось всюду. Через два дня Савин опять спросил ответа и сказал, что вследствие этой истории и ссоры с Лентовским он покидает Харьков и едет в Калугу, куда уже получил приглашение на первые роли и хорошее жалованье.

— Если вы согласны, то я телеграфирую ваши условия и мы уедем вместе, а о Дюкове не беспокойтесь: я устрою.

Я все-таки не решалась и указывала ему на слишком скорый срок, отсутствие родителей, наше недавнее знакомство и проч. На все это он отвечал:

— Это пустяки. Вы можете отказать мне только в том случае, если любите К.

Месяц, проведенный в харьковской труппе, научил меня многому, я насмотрелась на несколько «пар», неуважение,

с каким относились все к этим женщинам, приводило меня в ужас. Просмотрев все письма К., я поняла настоящий их смысл: ни к одной строчке нельзя было придраться — везде говорилось только о «контракте» и о каком-то туманном будущем. О чувстве ни слова — один расчет. Все это, как молния, проскользнуло в моей голове и мурашки забегали по телу при мысли, что К., очевидно, намеревался воспользоваться моей неопытностью и прибавить еще одну «пару» в закулисном мире.

— Я слышал ваши лестные отзывы обо мне (продолжал Савин) и постараюсь доказать справедливость вашего мнения. Покуда я прошу только вашего уважения, а любовь постараюсь заслужить со временем. Что же вы скажете?

— Я совершенно охладела к К.,— сказала я (хотя что-то у меня как будто оборвалось внутри в эту минуту и какой-то клубок поднимался к горлу),— я не люблю его, а главное, не уважаю. В настоящую минуту ближе друга, как вы, у меня нет на свете,— докончила я, протягивая руку, которую он поцеловал.

Тотчас же я ушла домой из театра и, не сказав никому ни слова, отказавшись ужинать, легла спать, но пролежала всю ночь с открытыми глазами.

Что бы я дала, чтобы увидать только на минуту К., услыхать одно его слово! .. Он так умел уговорить, он оправдался бы, может быть, я подозревала его напрасно... Мне казалось, что он входил в мою комнату, с упреками требовал объяснения... Все письма еще раз были пересмотрены мною и показались в ином свете: между строчками был другой смысл, и я видела нежную заботливость там, где прежде казался расчет, нежность вместо холодности... Отсутствие подписи опять наводило сомнение, и моя бедная голова готова была разлететься на куски. Плакать я не могла, да и о чем! В 8 часов я поднялась с тяжелой, точно свинцовой головой и желтым лицом.

На репетиции Савина, слава богу, не было, и я думала (глупая), что вчерашние мои слова не могли быть приняты им за согласие, можно еще протянуть время... Может быть, я получу письмо... Я чувствовала, что так думать, а главное, не отвечать решительно — нечестно относительно Савина, но... это было выше моих сил. Придя с репетиции, я застала у нас Козловского.



Антреприза П. М. Медведева. Сезон 1871/72 г.

Слева направо: Васильков (управляющий труппой), Пауль (декоратор), Р. И. Иванова, Сорокин (машинист), А. М. Иванов (суфлер), А. И. Погонин, Н. Н. Савин, (?), М. И. Стрельский, П. А. Стрепетова, М. Г. Савина, П. М. Медведев, А. В. Егорова, В. Н. Давыдов, Т. Б. Борисова, А. А. Большаков, А. Ф. Гусева. И. Н. Александровский, А. П. Тулубина, Гарин, М. Е. Евгеньев, Н. Н. Кудрина, Матвеев, П. Н. Голодкова, А. И. Шуберт.



М. Г. Савина, П. М. Медведев, А. В. Егорова, В. Н. Давыдов.
Сезон 1871/72 г.

— Вот и невеста! — вскрикнул он.

— Машенька, что же ты не скажешь, что выходишь замуж? — спросила теща Шатилова.

— Да это неправда! — сказала я.

— Как неправда! — вскрикнул опять Козловский,— когда Савин это всем объявил и пригласил всю труппу на свадьбу.

— Если Савин сказал, то, значит, правда,— произнесла я каким-то неестественно-холодным «театральным» тоном.

Все стали поздравлять, а Шатилов заявил, что знал об этом давно, но после истории с Большаковым боялся брать на себя ответственность и предоставил мне самой решить мою судьбу. Это было в среду, а в пятницу в $9^1/_2$ часов утра, 5 июня, я была обвенчана с человеком, которого увидала первый раз 10 мая, но знала давно по рассказам К.

Приготовления и обряд мало занимали меня: я исполняла все машинально, но, кажется, не подала повода думать, что несчастлива. Да я и не отдавала себе отчета. Глаза К., как живые, смотрели на меня отовсюду, но я не могла определить их выражения. Накануне свадьбы я еще раз перечла письма и... решительно сожгла их, оставив два или три,— зачем, не знаю. Портрета его у меня не было. Так кончилась моя первая любовь! Теперь, через много лет, переписывая эти воспоминания, я как будто переживаю их и не могу не поблагодарить хоть мысленно К. за пользу, принесенную им мне в первых шагах на сцене. Остальное — прощаю от души

МОЕ ЗАМУЖЕСТВО

Харьков, 5 июня 1870 года

Этот период я исключила бы с удовольствием из моих воспоминаний, так как и без того я его не забуду, а пережить день за день все снова тяжело, но я решилась быть откровенной, а главное, с этих пор, в сущности, начинается моя сценическая карьера. На свадьбе присутствовала вся труппа, за исключением первых актрис, и в том числе Козловской, так как в этот день был ее бенефис. В спектакле все участвовали (шло «Горе от ума» и «Десять невест»), и потому венчались так рано. После поздравлений почти все отправились на репетицию, потом обедать к нам, а вечером в театр. После спектакля у нас танцевали до семи часов утра под оркестр, управляемый с увлечением Козловским. После обеда я получила пакет, в котором лежал билет на большую (царскую) ложу с надписью «от товарищей». Это была любезность шаферов, и по окончании «Горя от ума» вся труппа пришла в нашу ложу, и мы вместе смотрели «Десять невест». Чепчик, который я не замедлила состряпать, очень занимал меня в этот вечер. Отцу и матери послали депеши с просьбой благословить. Отец, хоть и прислал согласие, но, видимо, не поверил моему браку (он был убежден, что я убежала к К., да и весь Минск говорил это), а мамаша вышла из себя и вместо депеши с благословением прислала ругательное письмо Шатилову и обещала жаловаться на него, а брак мой расторгнуть. Три дня продолжались обеды, танцы, пикники, а затем мы уехали в Калугу. В день отъезда я получила депешу от К., в которой было следующее: «Снял театр на лето, нужна актриса на ваши роли. Выручьте товарища, приез-

жайте немедленно». Я показала депешу мужу и спросила, что мне делать.

— Конечно, ехать, — отвечал он.

— А вы?

— Я, конечно, не буду вам сопутствовать, но не стану вас удерживать и дам свидетельство.

Я немного обиделась и сказала, что одной ехать и сейчас после свадьбы считаю неприличным, и хотя я многим обязана К. и хотела бы ему помочь, но принуждена буду отказать.

— Напрасно. Разве вы не понимаете, что театр снят специально для вас, а я так дружен с ним, что охотно уступлю ему свои права (которых еще не имею) на вас, если вы его любите. Ведь вы хотели жить отдельно от семьи, но отец никогда не дал бы вам вида — воспользуйтесь случаем.

Несмотря на мою наивность и тайное желание воспользоваться этим предложением, я инстинктивно поняла, что под ним кроется что-то нечестное, и после долгого размышления спросила:

— Может быть, вы раскаиваетесь в поспешной женитьбе и хотите избавиться от меня или... мне даже страшно подумать — вы условились с вашим другом так поступить (последнее я могла предположить, так как de facto я не была еще его женой).

Он не дал мне прямого ответа, а просил поступить, как я найду лучшим. Обливаясь слезами, я сказала, что считаю своим долгом быть с мужем, и если судьба принудит меня его бросить, то мы разойдемся, покинув Харьков: скандал пугал меня. Я убедилась, что муж не только не любит меня, но и не уважает, даже презирает меня. С этим убеждением и с полными слез глазами я стала писать ответ К. «Вчера обвенчалась с Савиным, завтра едем в Калугу. Жалею, что не могу быть полезной». В тот же вечер (как я потом узнала) К. чуть не помешался от злости, написал мужу ужасное письмо, где упрекал его в подлости, и в конце концов напился пьян и сделал скандал на весь город.

Мы приехали в Калугу. Труппа была жалостная, а театр очень скверный. Антрепренер — сестра покойной жены Дюкова, а режиссер — некто г. Воронин, грубый, нахальный мужик, эксплуатировавший нас без совести. Я была придатком к мужу, получала маленькое жалованье и на

меня обращали внимание, как на жену первого актера. В августе явились два новых актера из труппы К. — Бураковский и Кузьмин (последний был очень талантлив на роли стариков, но вскоре спился и умер). Оба они дебютировали с большим успехом и скоро сделались любимцами. Муж почему-то предложил им жить с нами, так как квартира была большая, и Бураковский стал за мной сильно ухаживать. Играли мы три, иногда четыре раза в неделю, а свободные дни муж с Кузьминым проводили в клубе, оставляя меня одну с моим ухаживателем, и, возвращаясь, спрашивали при мне, — успешно ли идут его дела. Это приводило меня в отчаяние, и были дни, когда я ненавидела их всех. Муж относился ко мне с нескрываемым презрением: что бы я ни сделала, все осмеивалось и осуждалось. «Моя жена не должна так поступать», «когда вы перестанете быть девчонкой», «и это моя жена» — вот фразы, которые слышала каждый день и целый день. На них Бураковский основал план успеха в своем ухаживании и старался восстановить меня против мужа, задевая мое самолюбие. Кузьмин сильно пил, и муж ему помогал, в особенности в свободные дни; я часто видела его почти без сознания и под конец находила это естественным. У нас было очень много знакомых, и по понедельникам почти все собирались.[23] Покуда я не привыкла, это было для меня сущим наказанием, и я, приготовляясь к вечеру, весь день плакала. Когда гости разъезжались, муж делал мне сцены: «Вы никого не умеете занять, ни о чем говорить; дамы скучали; чай отвратительный, ужин подали не вовремя; к карточным столам вы ни разу не подошли, — и это моя жена! ..» Я засыпала в слезах, проклиная гостей, так как находила упреки справедливыми. Когда я понемногу стала привыкать к роли хозяйки, явилось новое горе: «Что это за вами никто не ухаживает — это оскорбляет мое самолюбие. Вы не умеете держать себя: никто не заметит, что вы хорошенькая женщина». На мое замечание, что я никогда не позволю за собой ухаживать и в сотый раз прошу избавить меня от Бураковского, он ответил: «Сашка не смеет ни на что рассчитывать, потому что я его поколочу, а его ухаживание очень полезно вам для практики». «Сашка» все это слышал и еще больше стал ухаживать, уверяя, что «если муж позволяет, то глупо не пользоваться». Я продолжала быть глупой и не пользовалась, хотя иногда сожалела. Уж очень было

скучно и тяжело, в особенности, когда муж являлся пьяный, да еще чуть не в восемь часов утра, проиграв последние деньги. Играла я кое-что и кое-как, большею частью водевили с Бураковским и вторые роли в оперетках. Как я вспоминала Минск! Муж был приглашен на роли первых любовников, дебютировал с успехом, но потом как-то стушевался; его смотрели, но не любили, хотя он продолжал играть первые роли. Бенефисы же его, благодаря большому знакомству, были всегда полны, и зиму мы жили, не нуждаясь.

Постом труппа разъехалась, и мы остались одни. Муж постоянно пропадал в клубе и редко возвращался трезвый. С Ворониным поссорился, тот не давал денег, кредиторы осаждали, и все это обрушивалось на меня. Были минуты, когда я решалась на самоубийство. Раз с горя пошла в церковь (недалеко от нас) ко всенощной и усердно, со слезами, как бывало в детстве, молилась, прося у царицы небесной помощи. Я просила бога послать мне ребенка, думая, что тогда муж полюбит меня или хоть станет лучше обращаться. С тех пор редкий день я не была в церкви и наконец вымолила: желание мое исполнилось. На второй месяц моей беременности приехал к нам отец погостить и познакомиться с мужем, а главное, убедиться, правда ли, что я замужем. Тут я нравственно немножко отдохнула, но зато мне предстоял непосильный физический труд. Труппа вся должна была возвратиться в июне, чтобы ехать в Мещовск на ярмарку, а затем опять служить зиму в Калуге, но вдруг мы узнали, что первая актриса, опереточная и драматическая, с мужем-дирижером нарушили контракт. Муж воспользовался случаем и предложил заменить ее мной. Мне прибавили жалованья и повезли в Мещовск в качестве первой актрисы. Беременность мою скрывали тщательно. Бураковский, утомленный моей холодностью, сошелся с очень красивой вдовушкой (много старше его) и, пробыв весь пост в Петербурге с ней, вернулся, не скрывая своего презрения ко мне, но, когда пришлось играть каждый вечер и репетировать весь день вместе, ухаживания возобновились.

Мы переиграли все оперетки. Я учила чрезвычайно быстро, сама шила все костюмы и не имела ни минуты отдыха. Муж был крайне внимателен, а Воронин стал поговаривать, что на зиму, кроме меня, ему никого не нужно и что такой прыти он от меня не ожидал. Лихорадка ярмарки продолжалась две недели. Мы вернулись в Калугу, где

узнали, что хозяин квартиры подал вексель мужа ко взысканию, и нам пришлось искать другую квартиру. Воронин, узнав о моей беременности, отказался дать денег вперед (так как на зиму на меня нельзя было рассчитывать), и мы очутились в ужасном положении. Не только мебели, иногда самого необходимого купить было не на что. Три ночи я спала на полу: все описали по иску прежнего хозяина. Я переносила это ужасное положение удивительно легко и ни разу не упрекнула мужа, за что он не раз благодарил и удивлялся мне. В конце июля он как-то достал денег и решился съездить в Нижний Новгород в надежде играть там ярмарку или встретить какого-нибудь антрепренера.

Он уехал, оставив меня в гостинице, где жил Кузьмин с актрисой Н., и заплатил за меня за две недели вперед. К концу этого срока я получила от него письмо, в котором он проклинал себя, что не взял меня, так как в Нижнем сильно нуждаются в актрисе на мое амплуа, что ему места нет, а деньги все прожил и мне выслать не может ни копейки. Мне казалось, что я сойду с ума. Всю ночь я не сомкнула глаз, придумывая средства для немедленного отъезда. Я думала ехать, а послезавтра кончался срок, и меня попросили бы очистить квартиру, так как платить было нечем и есть было нечего. У меня были только золотые часы (на снурочке), попавшие в опись имущества, которые я ни заложить, ни продать не имела права. К знакомым я ни за что бы не обратилась. К утру мне казалось, что моя голова лопнет, и комната душила меня.

Я вздумала идти на бульвар, несмотря на ранний час, и, устав от прогулки, присела отдохнуть на скамейку. Долго я сидела, обдумывая свое несчастье, как вдруг услыхала по песку шаги. Подняв голову, я увидела знакомого, Павла Петровича Соловьева; он бывал не особенно часто у нас, но чрезвычайно мне был симпатичен. Он спросил, почему я так рано вышла и где мой муж. Я сказала, что он отправился искать место, так как Воронин становится невыносим и служить больше мы не можем. Он стал успокаивать, что все устроится и Калугу бросать не следует: «Вас здесь полюбили и вы привыкли». Но я уже начала привыкать к мысли об отъезде, и его успокаивания совершенно расстроили мои нервы. Кончилось тем, что я рассказала ему все и не преминула расплакаться. Он был пожилой, всей Калуге известный человек и занимался, кажется, частной

адвокатурой. Знала я его мало, но слышала о нем только хорошее. Впрочем, я была в таком состоянии, что готова была заплакать перед первым встречным. Я попросила совета у Павла Петровича — ехать ли мне в Нижний, и показала письмо мужа (я перечитывала его двадцать раз).

— Конечно, поезжайте, — сказал он.

Я вздохнула свободно. Я сама так думала, но боялась, что ехать будет глупо. Верного ведь ничего не было, а между тем мы теряли место в Калуге; контракт был на три года, о чем я без содрогания не могла подумать. Разговор коснулся денег, и я призналась, что у меня ничего, кроме часов, нет. Он спросил, сколько мне нужно, и я ответила — 40 рублей. Накануне мы с Кузьминым рассчитали всю дорогу как можно дешевле, и этой суммы оказалось достаточно.

— Ступайте домой, а то, хоть я и старик, но об нас могут дурно подумать, видя на бульваре в такой необычный час, и укладывайте ваши вещи. Завтра почтовый день, и вы можете выехать, а деньги будут у вас за час до отъезда.

Я чуть не поцеловала его от восторга и не верила своим ушам. Придя домой, я застала моих товарищей за кофе. К ним пришел Бураковский, и они все удивлялись моему отсутствию. Бураковский, узнав, что я была на бульваре, стал всех уверять, что у меня назначено свидание, и, дурачась, упрекал за равнодушие к нему и ревновал к воображаемому сопернику. Кузьмин тоже шутил: «Это она ходила искать в песке 40 рублей на дорогу». Он не подозревал, какая была правда в его словах. Я боялась сказать о моем счастье (чтобы не сглазить), но только намекнула на надежду уехать и просила Н. помочь мне в укладке вещей. Она стала надо мной смеяться, и так в шутках прошло все утро. После обеда мы с Н. уложили все, что у меня было, и я, измученная, легла в постель, чтобы опять не заснуть ни на минуту. Встала я чуть свет; время тянулось невообразимо медленно. Наконец настал желанный час, в мой номер постучали, и вошел Соловьев. Он извинился, что опоздал на четверть часа (эти четверть часа показались мне годом, и я начала уже думать, что видела этого доброго человека во сне), и передал мне деньги. Я просила его взять взамен мои часы, которые тщательно уложила в коробочку, и сказала, что пришлю за ними, как только будут у меня деньги. Он сначала отказался, но, боясь меня обидеть, взял и ушел, провожаемый изъявлениями моей безграничной благодар-

ности. Через несколько часов тарантас Ечкина (сообщение между Калугой и Москвой) увозил меня, полную надежд и восторга. Кузьмин, Н. и Бураковский не хотели верить моему отъезду до последней минуты и Н. очень плакала, провожая меня. Калугу я проклинала и помнила только Соловьева, спасшего мне жизнь. Поездка эта напомнила мне минскую, полтора года назад: те же лошади и попутчик (и даже с рыжей бородкой), оказавшийся доктором. Благодаря его заботам, я доехала благополучно в Москву, где он отправил меня на Нижегородский вокзал и заботился обо мне, как о ребенке. Не знаю, что было бы со мной, если бы не этот добрый доктор. Поезд подходил к Нижнему, и у меня сердце замерло — и недаром: на вокзале, вместо мужа, встретил меня К. Муж писал, что он служит в Нижнем, но я почему-то об этом забыла. Я растерялась и не знала, как с ним заговорить. «Ваш муж уехал в Саратов для переговоров с тамошним антрепренером и вернется через три дня, а мне поручил встретить вас». Мы приехали в театральную гостиницу, и он тотчас повел меня к знаменитому Смолькову,[24] который предложил мне 100 рублей за две недели, если только я могу играть Купидона в «Орфее в аду» (из-за этого не ставили оперетку до сих пор). Я, конечно, согласилась и совершенно счастливая отправилась домой. После репетиции К. зашел ко мне, расспрашивал о моем житье-бытье; о прошлом — ни слова, только с особенным ударением называл меня «мадам».

Вечером я пошла смотреть, как он играл: шла его любимая пиеса, игранная им много раз в Минске, и я рассчитывала на большое удовольствие. Боже, как я ошиблась! Мне казалось, что его подменили: голос, манеры, костюм, все, что так нравилось и обращало всеобщее внимание прежде, казалось теперь противно. «Чарующая смелость» оказалась просто вульгарностью, и актер он был плохой. До чего я была слепа с моей любовью. Я не могла досмотреть спектакля и ушла страшно разочарованная. К счастью, на другой день приехал муж, и К. не заметил моего разочарования. Места муж не нашел и едва доехал до Нижнего — денег не было ни копейки. Он чрезвычайно обрадовался моей службе в Нижнем, на две недели мы были обеспечены. Начались репетиции Орфея, и я познакомилась с труппой. В то время гастролировал петербургский актер Алексеев и помогал режиссеру в постановке оперетки на петербург-

ский лад. Я познакомилась с Варламовым и Петипа, которые только что начинали, в особенности последний. К. играл Юпитера, Лаврова — Евридику. Варламов стал уверять меня, что я чрезвычайно напоминаю ему Ф. Козловскую, которую он очень любил, и принес мне конфект. Алексеев сказал, что в Петербурге в четвертом акте Орфея есть балет и купидон танцует целое па, предложил меня выучить. Я охотно согласилась, не подумав, что это может быть мне вредно (никто не замечал моего положения, и многие принимали меня за девочку), — танцы всегда были моей страстью. После Орфея я играла с Алексеевым и К. комедию «Несчастье особого рода» и вторую роль в водевиле «Женщины-арестанты». В последней меня увидел казанский антрепренер Медведев [25] и угадал (как потом говорил) талант в двух-трех фразах. Участь наша была решена на другой день после этого спектакля: мы заключили условие на 225 рублей в месяц, два полубенефиса и дорога. Через неделю мы покинули Нижний, и я вздохнула свободно: новая и, наверно, счастливая жизнь ждала меня впереди. Я не сходила с палубы, желая как можно скорее увидать эту милую Казань. Волга очаровывала меня, капитан и матросы казались такими милыми, пассажиры такими любезными, солнце так ярко горело. . . я была счастлива в полном смысле этого слова и, ложась, усердно помолилась за Соловьева, благодаря которому все так хорошо устроилось. Я немножко гордилась перед мужем, и он восхищался моей энергией и находчивостью. Мое восторженное настроение увеличилось с приездом в Казань: город мне чрезвычайно понравился, хотя мы приехали под вечер. Муж отправился к Медведеву и, возвратясь, назвал мне имена всех новых товарищей: не было ни одного знакомого. На другой день он велел мне одеться получше для визита к Шуберт,[26] с которой служил в Вильне и очень ее любил. Александра Ивановна Шуберт была уже далеко не молода в это время, считалась очень хорошей актрисой и еще более умной женщиной. Она всегда была центром закулисного мира и могла быть мне чрезвычайно полезна, так как в молодости была замечательной «ingenue».

«Это большой мой друг и ты должна слушаться ее во всем»,— заключил муж, и я, по обыкновению, запрыгав на одной ножке (чего я давно не делала) от удовольствия предстоящего знакомства, надела шляпу, и мы отправились. Она жила недалеко от театра, в доме Е. Б. Пиуновой-Шмидгоф,

известной актрисы, бывшей «не у дел» в это время. Лестница в квартиру Шуберт была очень крутая и высокая. Я стремительно на нее взбиралась, перескакивая по две ступеньки, не обращая внимания на замечания мужа, что это может быть вредно, и, наконец, достигла двери. Сердце немножко замерло, я пропустила мужа вперед и. . . увидала совсем не то, что воображала.

Нас встретила очень приветливо маленькая, худенькая брюнетка с густыми, чудными волосами, мелкими, но правильными чертами, небольшими, чрезвычайно живыми глазками и приятным голосом. Она говорила живо, немножко торопясь: трунила над мужем, вспоминая Вильно, и снисходительно-мило (как с ребенком) обращалась ко мне. Она мне очень понравилась. Подали завтрак. Я ничего не ела, а только пила, но пила так много, что возбудила общее удивление. Жажда меня мучила и мне казалось, что внутри у меня все горит. Должно быть, и лицо у меня изменилось, так как Шуберт обратилась с вопросом, не дурно ли мне. Я действительно чувствовала себя очень странно, но не могла объяснить, что со мной. Александра Ивановна предложила мне прилечь на диван и послать за акушеркой, говоря, что осторожность не мешает. Акушерка объявила, что через два часа я должна родить преждевременно. Я очень испугалась, не поверила ей и стала собираться домой. Шуберт засмеялась: «Что вы? как домой? Да разве можно вас пустить в эту минуту. Оставайтесь у меня, а там, что бог даст». Это было 23 августа 1871 года, а 26-го я, промучившись около трех суток, родила мертвую девочку.

Мне ее не показали, да я и не интересовалась: я слишком много страдала. Молодость взяла свое, и через несколько дней я упрашивала доктора позволить мне играть, как можно скорей, боясь, что Медведев будет на меня в претензии. Сезон начинался 30 августа, и я должна была выступить в водевиле «Пансионерка», некогда любимой роли Шуберт. Я пролежала у Александры Ивановны более двух недель, и на это время она уходила ночевать к Медведевым. Отличилась я с первым визитом. Никогда не забуду ее забот обо мне и вечно буду ей благодарна. Дебютировала я уже в конце сентября в комедии «Марианна, или Роман светской женщины», перевод с французского, и в водевиле «Бедовая бабушка». Имела положительный успех. Медведев в особенности восхищался моим исполнением, так как, судя

по репетициям, он думал, что я провалюсь. Первой актрисы не было, и я скоро стала любимицей публики. Театр был большей частью полон, в особенности, когда давали оперетки, которые Медведев обставлял роскошно. Труппа состояла преимущественно из талантливых людей, любящих дело. К тому же Медведев умел распоряжаться их силами, и пиесы шли с большим ансамблем. Репертуар держался на комедии и оперетке, так как приглашенные для драмы Степанова и Новиков-Иванов не понравились публике и, прослужив месяц, потихоньку уехали. Искать других было негде, а, главное, сборы от этого не пострадали, и Медведев утешился. Губернатор Скарятин принимал горячее участие в судьбе театра и даже произвел себя в директора: мы все должны ездить к нему на поклон и привозить ложу на бенефис, за которую он всегда платил и отдавал всем визиты. Конечно, такое участие много способствовало процветанию театра. Мы скоро перезнакомились со многими из публики, и я стала много танцевать на семейных вечерах в клубе; я не пропускала ни одного танца и счастливее меня не было на свете. В бенефис я решилась в первый раз сыграть серьезную роль и поставила «Светские ширмы». По мнению всех, я была слаба, зато Орест в «Прекрасной Елене» и «Чайный цветок» были моими коронными ролями. В бенефис мне поднесли много цветов и бриллиантовый браслет, а студенты устроили целую овацию. Такого дружного сезона и радушия публики ко всей труппе вообще я не запомню. Я работала чрезвычайно много, и Медведев, в виде награды, дал мне бенефис 28 декабря, в праздник, и прибавил жалованья. Муж не имел никакого успеха, мало играл и слыл «полезностью». Ему удавались роли холодных резонеров и где нужны были приличные манеры. Я скоро сообразила, что он служил только из-за меня. Весь сезон мы жили очень мирно: я как-то не замечала домашней жизни, так как весь день и вечер проводила в театре, а в свободные дни танцевала до упаду, окруженная поклонниками всякого рода. Портрет, снятый в ту зиму, изображает меня с довольно полным лицом и спокойным до тупости выражением. У меня был хороший гардероб: Медведев любил, чтобы актрисы хорошо одевались, и я на этом основывала свои требования к мужу. Я требовала, тогда как в Калуге мне приходилось вымаливать 30 копеек на булавки и шить платья самой.

Так шла зима и наступил январь. Королем оперетки и любимцем публики (а дам в особенности) был Стрельский (Третьяков), обладавший сильным и красивым баритоном. В сущности, пел только он да примадонна Борисова, а остальные все были безголосые, но оперетки шли удивительно хорошо. Стрельский жил со Стрепетовой,[27] которая была беременна и могла начать играть только в половине января. Мы все ждали ее дебютов, так как слышали, что она хорошая актриса. За кулисы она ходила редко и вообще дичилась, а познакомилась только со мной и Шуберт. Я стала часто навещать <ее> и большею частью уходила расстроенная, быв свидетельницею безобразных ссор между ею и Стрельским. Он беспрестанно подавал повод к ревности, и жизнь ее была похожа на ад. Я и до сих пор не пойму, как мог Стрельский с его характером сойтись с ней. Доктор и акушерка (лечившие меня) сообщили мне по секрету, что вряд ли она перенесет роды, так как сложение ее ненадежно (маленькое, худое, полугорбатое существо), а что ребенок умрет, наверно. Мне было страшно ее жаль, и я еще чаще стала навещать ее. К счастью, все окончилось благополучно, и она отделалась только родильной горячкой, благодаря сцене со Стрельским (он терпеть не мог детей), и ребенок был жив и здоров. К концу января она дебютировала в «Семейных расчетах», «Каширской старине» и «Ребенке» и имела огромный успех. На мою долю остались только оперетки, но до конца сезона оставалось не более трех недель. Последний спектакль был трогательным прощанием со всеми, так как Медведев покидал Казань навсегда и переезжал со всеми нами в Орел на зиму, а лето труппа в этом же составе должна была играть в Саратове в труппе Сервье (кроме Стрепетовой). Хотя в Казани меня очень баловали, но я все-таки относила это к молодости, а не к таланту, и Саратов страшил меня, так как туда я была приглашена на первые роли. Дебютировала я все-таки в своей роли: «Бабушкина внучка», очень хорошенькая комедия в 3 действиях, и «Чайный цветок», где можно было показать товар лицом всей труппе, а мне с Давыдовым в особенности. Он удивительно хорошо играл секретаря, и сцена второго акта, где мы вместе плачем, производила фурор. Все имели успех, а каждый аплодисмент, выпавший на мою долю, имел для меня двойную цену: я убеждалась, что и в «серьезном» городе, где нет

увлекающейся студенческой молодежи, я могу произвести впечатление, стало быть, я не так плоха, как думала. Вскоре оказалось, что я опять беременна, и это меня очень испугало: что скажет Медведев? По расчету, я могла играть только до ноября. Значит, весь сезон он опять без актрисы, притом же я чувствовала себя очень скверно. Ужасно нервничала, плакала по целым часам, не могла переносить жары, и редкий спектакль проходил без истерики, в особенности, если у меня была драматическая роль. Раз давали комедию Дьяченко «Не первый и не последний», где Савин хорошо играл роль мужа (и очень любил ее), а я — жену. Сцена второго акта между нами, кончающаяся истерикой, так увлекла меня сходством с моей собственной жизнью, что я залилась настоящими слезами, и пиеса, вместо пяти актов, кончилась на втором. Муж не верил моей болезни и громко говорил, что все эти истерики одно притворство, что, конечно, обижало меня и в результате были беспрестанные сцены, кончавшиеся теми же истериками. Шуберт жила рядом с нами, почти была свидетельницей наших ссор и взяла мою сторону, что крайне рассердило мужа. Она очень резко выражалась при мне о нем и говорила, что он очень изменился. В труппе он пользовался всеобщей антипатией, а Давыдов положительно его не выносил: они не говорили, каждую минуту готовы были подраться, и со мной поэтому Давыдов был резок, даже груб; мы едва кланялись, а каждый вечер играли вместе все водевили. Мне начали вбивать в голову, да я и сама стала замечать, что работаю я одна, а муж ничего не делает. Меня стали громко сожалеть, а он сошелся с «кутящим кружком» из публики и иногда играл в карты. Последнее пугало меня больше всего. Доктора советовали мне перестать играть, иначе повторится то, что было в Казани; но мы жили тем, что зарабатывали, и отдых был немыслим. Жизнь моя опять стала каторгой. А впереди предстоял сезон, полный лишений, так как Медведев был знаком со способностями мужа, и на большое жалованье рассчитывать было нельзя. Это предположение высказала раз Шуберт, и Савин никогда не простил ей этого, а меня положительно возненавидел и всячески упрекал за то, что в контракте стояло мне больше жалованья, чем ему.

Как-то во время вечерней репетиции (спектакля не было по случаю кануна большого праздника) я сидела на веранде

ресторана и услыхала шум нескольких голосов: в ресторан входило несколько человек и между ними новое лицо (это было время выборов и акционерных собраний). Вскоре до меня донеслись слова: все они удивлялись, почему нет спектакля, вызвали Сервье (хозяина сада), долго спорили, наконец кто-то поспешно уехал, а через несколько времени муж подошел ко мне и объявил, что эта компания предлагает Сервье 500 рублей, чтобы дать спектакль, и уже послали к полицеймейстеру за разрешением. Я ужасно возмутилась, вообразив почему-то, что они все пьяны, и сказала, что ни за что не буду играть. Муж согласился со мной. Мы пошли на сцену. Там все актеры обсуждали этот вопрос. После долгих споров пришли к заключению, что, во-первых, мы не имеем права отказаться, а, во-вторых, сделаем доброе дело, так как музыканты и хористы получат за этот вечер деньги. Разрешения полиции на спектакль не последовало, но так как в городе были друзья между собой, то предложено было дать этот спектакль в виде генеральной репетиции к завтрашнему дню. Двери закрыли, театр осветили, и мы начали одеваться, чтобы играть «Чайный цветок» перед десятью человеками. Посторонней публики быть не могло, так как никого в саду не было. Я, разозленная донельзя, вышла на сцену и дала слово мужу, при малейшем шуме или жесте какого-либо из публики уйти и не продолжать роль. Я была убеждена, что эта затея кончится скандалом, и возненавидела это «новое лицо», основательно предполагая его автором этой выдумки. Так и оказалось: это был известный Саратову помещик и всеобщий любимец, чрезвычайно симпатичный человек. Служил он директором железной дороги и жил в Петербурге. Когда приезжал в Саратов на собрания или по своим делам, то весь город веселился, так как он любил и умел устраивать беспрестанные пикники и обеды (теперь вырождающийся тип помещиков-кутил, хлебосолов). К удивлению моему, никакого скандала не произошло, и спектакль кончился очень скоро. В антрактах мы слышали, что эти господа готовят для артистов богатый ужин. Я видела мужа в креслах, болтающего с «новым лицом», и знала, что придется ужинать или вынести сцену с мужем. Выйти из театра нельзя было, минуя веранду. Нас ждали и, поблагодарив за любезность, завели разговор об ужине: все были между собой знакомы. Муж шел мне навстречу и вел незнакомого

господина. «Позволь тебе представить: Александр Петрович К.» — «Очень приятно».— «А мне очень неприятно, извините,— отвечала я.— Это благодаря вам мы должны были играть на заказ, точно в балагане». Он смешался, сказал, что это все общество, не он один, и что я слишком сурова. . . Муж вывел его из затруднения, сказав, что все это глупости и что мы идем ужинать, так как он принял приглашение Александра Петровича. Последний обратился ко мне с просьбой не обидеть его отказом, но я, несмотря на грозный взгляд мужа, отказала, отговорившись усталостью, и, сухо поклонясь, ушла домой. Муж возвратился очень поздно и, должно быть, сильно выпив. Шуберт одобрила мой поступок, и, конечно, по поводу этого была сцена. Мы только что кончили обедать, как услыхали шум экипажа под окном, муж выглянул: «Александр Петрович, милости просим». У себя в доме я не могла не сдержать себя и приняла его насколько могла приветливо, ни словом не упоминая о вчерашнем. Он справился, как я себя чувствую, и сказал, что, зрело обдумав, нашел мой упрек справедливым и сильно раскаивается, что способствовал этому спектаклю и не знает, как заслужить мое прощение.

— Я только во время ужина узнал о вашем положении и всю ночь мучился, что волнение и усталость, когда вы рассчитывали на отдых, могли повредить вам. Простите, ради бога.

Все это было сказано самым искренним тоном, и я со смехом обещала забыть его вину. Всем стало легче, и разговор завязался. Вдруг послышался опять стук экипажа, шум в передней, и горничная вошла сказать, что человек Александра Петровича приехал по важному делу. Я велела позвать его в гостиную. «Что случилось?» — спросил А. П. — «Ваша квартира сгорела и некоторые вещи, бумаги спасли».— «А Леди?»—«Отвезли к Андрею Сергеевичу». — «Хорошо, ступай, я сейчас приеду». Я поразилась этому хладнокровию и ничего не могла сказать от испуга. Пожаров я страшно боялась и не могла успокоиться до тех пор, пока не убеждалась собственными глазами, что горит не близко моей квартиры. Муж знал об этом, и когда А. П. стал прощаться, то он попросил его свезти меня до города, объяснив, в чем дело. Тот охотно согласился, и я, не придя в себя еще от испуга, села с ним в коляску. Сад Сервье был в двух с чем-то верстах от города, а квартира, т. е. дом

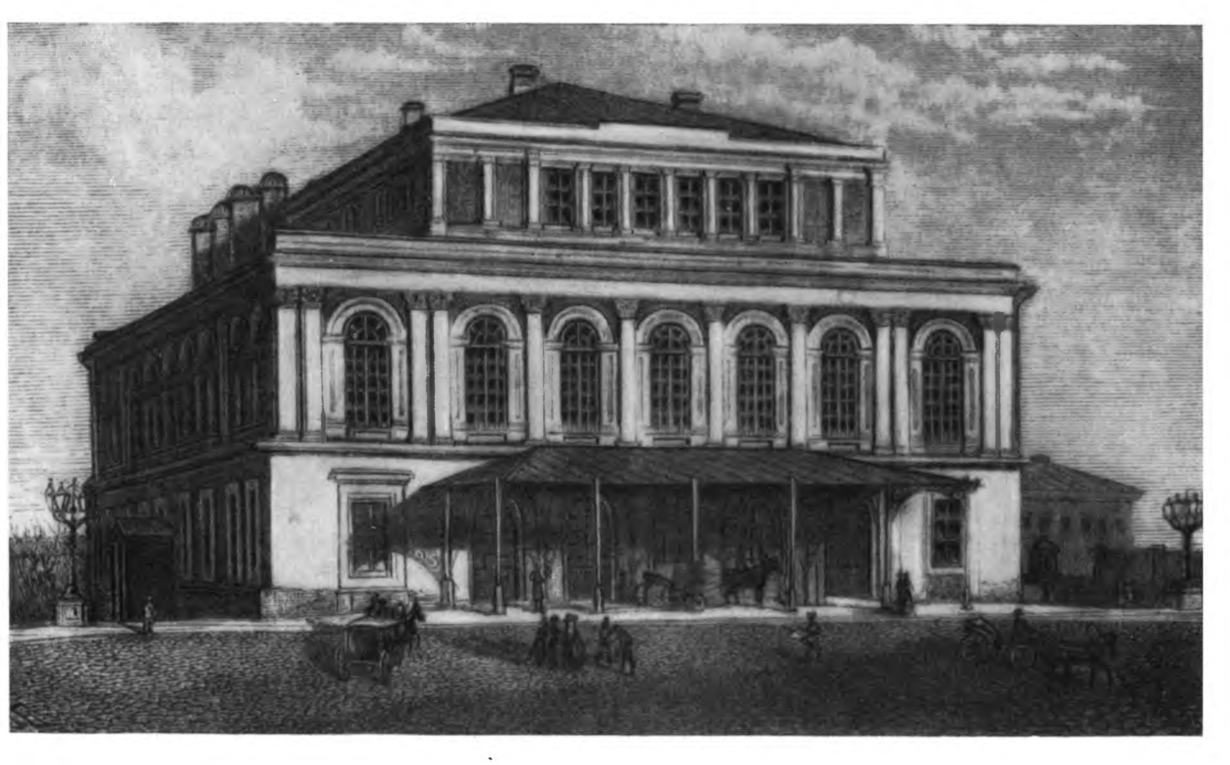
дяди А. П., в самом центре. Конечно, начали разговор о пожаре, и он сказал, что мог беспокоиться только о Леди и бумагах. «Кто это Леди»,— спросила я.— «Моя собака. Прелестное животное, я ее страстно люблю: ведь я охотник». Покуда мы доехали, я узнала, что он недавно овдовел, прожив с женою только семь месяцев, и чуть с ума не сошел от горя (его жена умерла восемнадцати лет и была замечательная красавица). Теперь ведет бесшабашную жизнь, мешая дело с бездельем, сильно играет в карты, развлекает общество, чтобы самому не скучать, и часто хандрит. В общем: бесцельная жизнь. Мне стало его жаль, и я сказала ему это. Он в самых теплых выражениях поблагодарил меня за участие, просил не смотреть на него строго (он все еще не мог забыть моего вчерашнего обращения) и сказал, что никогда еще не видел такой симпатичной женщины, как я.

— Меня в особенности поражает в вас отсутствие жеманства: вы совсем не похожи на актрису. Только отчего у вас такое грустное лицо? Это всегда так?

Я отшутилась чем-то, не найдя приличным посвящать постороннего, хотя и симпатичного, человека в мои семейные отношения. Это было уже на возвратном пути. Пожар был потушен, когда мы приехали, и я подождала в коляске, пока он взял собаку. Леди, действительно, была прелестна: белый с черными пятнами сетер, с шелковой шерстью и чудными умными глазами; она с шумными выражениями ласки бросилась к своему хозяину, и я предложила взять ее с собой. Мы возвратились к нам почти друзьями, и так как времени было немного до начала спектакля, то Александр Петрович подвез меня прямо к саду, взяв слово, что после театра мы будем ужинать вместе в знак полного примирения. После этого мы виделись почти каждый день до нашего отъезда в Орел. Каждый день придумывалось какое-нибудь новое увеселение, вроде поездки на вторую станцию по железной дороге со скоростью шестидесяти пяти верст в час, причем шел только директорский вагон и локомотив. Дорога извилистая, и мы почти рисковали жизнью. Обеды в окрестностях на даче управляющего дорогой, ужины после спектакля и т. д. Все это значительно сократило последнее время нашего пребывания в Саратове и рассеяло меня, а муж был в своей сфере и не надоедал мне сценами. Очень я была благодарна Александру Петровичу за все это и рассталась с ним с сожалением.



М. Г. Савина и Н. Н. Савин.
1872 г.



Здание Казанского театра. 1870-е годы.

ОРЕЛ

Мы приехали в Орел и остановились в гостинице против театра, где жила также актриса (опереточная) Анна Ивановна Овчинина, но она занимала комнаты внизу, рядом с рестораном, а мы более скромное помещение вверху. В Казани я с ней была знакома только поклонами, так как она была довольно неприличная особа, и очень не обрадовалась этому соседству. Я начала устраивать свою квартиру и, желая привести все в порядок как можно скорей, стала сама прибивать вешалку и, забыв о своем положении, соскочила с сундука. К вечеру я сделала fausse couche (трех месяцев) и в отчаянии чуть не разбила себе голову об стену, уверенная, что на этот раз своей неосторожностью убила ребенка. Я так много плакала и горевала, что доктор предсказывал худой исход. Меня ничем нельзя было утешить, и муж послал телеграмму мамаше (она была все еще в Смоленске, в одиннадцати часах езды) о моем состоянии.

Я не ожидала ее, но через два дня они с Еленой были в Орле, думая не застать меня в живых. В первый раз в жизни я была безмерно рада свиданию с родными. Елена расцвела в полном смысле слова за эти два года и глядела совсем взрослой девушкой. Она и мать служили в Смоленске и взяли отпуск на несколько дней для свидания со мной. Мамаша обещала отпустить Елену зимой погостить, и, когда они уехали, я чувствовала себя почти хорошо, а вскоре начала играть. Во время болезни Овчинина вздумала навестить меня. Не принять было нельзя, и так завязалось знакомство, принесшее мне много

зла. Публика в Орле оказалась еще лучше саратовской, и я пользовалась успехом, наряду со Стрепетовой. Стрельский, ко всеобщему удивлению, не нравился и стал поговаривать об отъезде, тем более что репертуар держался на драмах и комедиях, а оперетка отошла на задний план. Медведев очень следил за мной: давал много полезных советов, которым я следовала с удовольствием, так как видела в нем человека понимающего и отличного актера. Ролями я была буквально завалена. Репертуар приготовлялся (печатный) самим Медведевым на два месяца (а иногда и больше), и отступлений Медведев терпеть не мог: все должно идти, как назначено, за редким исключением. Порядок был строгий и капризов не было. Стрепетова желала играть «все», а Медведев давал ей сначала только подходящие роли, но она настояла на своем и сыграла «Кошку и мышку». Медведев во втором акте выбежал из кресел, схватившись за волосы... Действительно, Стрепетова была невообразима плоха в своей роли, и публика, радушная к ней накануне, шикала ей в этот вечер. Решено было мелодрам не ставить и Стрепетовой, кроме ее репертуара, других ролей не играть. С этого начались истории, окончившиеся драмой. На репертуаре стояли «Фру-фру» и «Бешеные деньги»; обе роли (к моему ужасу) назначены были мне, а Стрепетова заявила, что если она их играть не будет (особенно Фру-фру), то откажется служить. Начались споры актеров за и против. По смыслу все были за меня, но никто не верил, что я могу справиться с такой трудной задачей, и так как все были против мужа, а Шуберт, Давыдов и даже Медведев, положительные враги, то громко высказывали самые обидные предположения. Стрепетова даже так выразилась: «Эта дура и не поймет роли. Она будет думать только о костюмах да о своем лице». Костюмы меня, действительно, заботили, так как для Фру-фру надо обязательно семь дорогих платьев, а на «Бешеные деньги» пять, а у меня было только одно годное. Играть при таких обстоятельствах было нелегко, и я проклинала свою судьбу и эти роли. Пришлось делать туалеты в долг. Начались репетиции. Немало слез я пролила, но оба спектакля прошли хорошо, и Медведев бегал ко всем со словами: «Я говорил. У меня чутье верное. Какова Савина-то!» Фаворитам мой успех пришелся не по вкусу, а Стрепетова не глядела даже в мою сторону. Вскоре после этого Медведев объявил,

что к нам едет на гастроли Павел Александрович Никитин, знаменитый чтец (вместо уехавшего Стрельского). Я очень рада была его видеть, так как мать и отец были когда-то дружны с ним и его женой и даже более двух лет жили в одной квартире. Не раз играла с его детьми, он наказывал меня вместе с ними, и теперь представлялся мне таким же грозным, как в те минуты. Он приехал и, конечно, репертуар изменили: его пиесы были большею частью в стихах и, к моему ужасу, все главные роли отдали мне, так как он наотрез отказался играть со Стрепетовой что-либо, кроме «Горькой судьбины» (к тому же она была беременна и довольно заметно). Я должна была выучить в одну неделю роль вдовы в комедии Григорьева «Житейская школа», Софью в «Горе от ума» и замужнюю в «Которой из двух». В пятницу я получила роли, а во вторник, среду и четверг должна была уже их исполнять. Вздумала, было, отказаться, но с одной стороны муж, с другой Медведев, да и Никитин по старой привычке просто накричал на меня: «Манька, да ты что это капризничаешь!» (он всегда называл меня <на> «ты»). Пришлось зубрить по ночам вперемежку со слезами. Так все двенадцать спектаклей с его участием я играла каждый раз новую роль, за что Медведев обещал меня наградить отдыхом, и я хотела воспользоваться им для поездки к мамаше, которая сдержала слово и прислала Елену на неделю посмотреть Никитина. Во время его спектаклей сборы были полны, стало быть, вся публика видела меня, к тому же я сделала много знакомств и два раза в неделю ездила в дворянское собрание на семейные вечера, где танцевала до упаду. Мой успех, а также и козни труппы росли с каждым днем. Все были страшно восстановлены против мужа, и он почти не играл, что первое время мало его тревожило, так как он очень подружился с Овчининой и нашел, что она может быть для меня крайне полезна относительно развития. Моя наивность и мои «дикие взгляды на самые простые вещи» возмущали его, и Овчинина должна была заняться моим просвещением, что и делала с большим усердием. Вела она себя беспутно в полном смысле слова: жила, как говорила, «по любви» с одним петерб<ургским> полковником, разжалованным и сосланным за что-то в Орел, и не отвергала, если не любви, то денег, во всяком случае, своих многочисленных поклонников. Она всячески втягивала меня в свою компанию,

но, к счастью, я так много играла, что поездки и пикники были мне не по силам, и муж отправлялся один. Много труда мне стоило не подать повода к дурному мнению о себе благодаря такому обществу. Она видела, что, несмотря на подарки, которыми она задабривает меня, я хоть и была постоянно с нею, но все-таки ее чуждалась. Не могла она простить также того, что я ездила в дворянское собрание, куда ей попасть было нельзя. Моя жизнь с мужем была ей хорошо известна, и вот они вдвоем с полковником стали выражать мне на каждом шагу свое участие, говоря, что он скоро доведет меня до чахотки, что я работаю, а он ничего не делает и что все его ненавидят и удивляются, как я могу жить с таким антипатичным человеком. Сначала я из самолюбия защищала его, но потом молчала по недостатку доказательств. Овчинина, приняв мое молчание за согласие, начала очень хитро выставлять все достоинства одного из моих поклонников, говоря, что в такого человека влюбиться не грех, а с таким мужем, как мой, и в особенности. Поклонник этот был временный орловский житель, Ш., человек лет сорока, представительный, даже красивый, очень умный и серьезный, находивший удовольствием бывать в театре, когда я играю, но не более. Овчинина решила воспользоваться этим. У Медведева всегда был род фойе рядом с его уборной, называвшейся конторой. Там всегда стояло трюмо (единственное во всем театре), и актрисы поневоле должны были в антрактах приходить осматривать свой туалет и, конечно, встречались с избранными из публики, которым Медведев позволял вход за кулисы. Когда не надо было менять костюма, то туда прямо приходили болтать со знакомыми. Мне, более чем кому-нибудь и чаще всех, нужно было трюмо, но сначала я стеснялась входить, так как Овчинина и ей подобные вечно торчали там, но муж требовал знакомства с публикой, «иначе бенефисы будут пустые», а также и Медведев находил, что «дичиться публики глупо». Я стала бывать в конторе и скоро у меня был свой кружок людей приличных, что немало возмущало моих товарок. Один из их компании уверял, что за мной ухаживать нельзя, потому что я влюблена в мужа и все ему расскажу. Этого мнения держались многие, но поклонников у меня не убавлялось, а дурного обо мне не говорили, тогда как у других были чуть не каждодневные скандалы. Вдобавок Ш. сказал раз Овчининой,

что он редко встречал такое неиспорченное существо, как я, тем более в такой обстановке: «Да она и на актрису не похожа». Все это Овчинина немедленно передала мне и, как потом я узнала, с этого момента возненавидела меня. Через несколько дней я заметила, что Ш. в разговоре со мной позволяет себе какие-то намеки, не досказывает чего-то и вообще не тот, что был прежде. Это удивило меня, и <я> не скрыла от него своего мнения. «Полноте притворяться: я не знал, что вы такая хитрая. Ведь вам давно известно, что вы мне нравитесь, зачем же вы кокетничаете со мной?» Этот тон оскорбил меня до глубины души и, сказав, что *от него* я этого не ожидала, я ушла из конторы, дав себе слово никогда туда не ходить. На другой день с половины Овчининой (мы переехали вниз и жили рядом с ней) постучались, и в дверь, в которую ходила только она, так как это была ее спальня, вошел Ш. Удивлению моему не было границ и я уж готовила резкую фразу, как услыхала следующее: «Ради бога, не подумайте, что я пришел с целью вас оскорбить. Не знаю, как заслужить прощение за вчерашнее, глубоко раскаиваюсь, но я не так виноват, как кажусь. Овчинина, с которой вы по-видимому дружны (и чему я крайне удивляюсь), уверила меня, что я имею право сказать вам то, что сказал вчера, и потому я позволил себе... Вы знаете, что до этого я относился всегда к вам с большим уважением...» Все это он проговорил взволнованным голосом и вообще был возбужден: по всей вероятности, он имел с Овчининой крупный разговор. Мне оставалось обещать забыть этот неприятный эпизод и подать ему руку, что я и сделала. Уходя, он посоветовал остерегаться Овчининой и удивился, когда я сказала, что муж, зная ее, настаивает на моей дружбе с ней. Я рассказала все мужу и позвала Овчинину на очную ставку. Произошла бурная сцена и я в конце концов была виновата, и муж требовал, чтобы я извинилась перед Овчининой. Она ловко вывернулась, приписав все лжи Ш. Все они были мне противны в высшей степени, и я благословляла судьбу, что гастроли Никитина кончились и я могла воспользоваться отпуском: я нуждалась в отдыхе нравственном и физическом. Никитин тоже вздумал ехать в Смоленск получить с какого-то актера 500 рублей и, кстати, повидать мамашу. Мы условились ехать вместе. В театре говорили, что Стрепетова и еще одна актриса увлечены Никитиным, и когда узнали, что я еду

с ним, то увлечение приписали и мне, основываясь на том, что он играл только со мной, говорил мне ты и т. д. Овчинина также намекала на это и даже предлагала свою помощь. Я так устала и так спешила хоть на неделю вырваться куда-нибудь, что не придала особенного значения этим толкам, и уехала, провожаемая всеми знакомыми, не предчувствуя беды. А между тем вот что случилось. Пока мы с Никитиным были в Смоленске (мать встретила его с большею радостью, чем меня), в Орле разыгралась драма: муж окончательно поссорился с Медведевым и дело чуть не до драки дошло, в результате чего оказалось, что муж не служит, жалованья не получает и роли все обязан возвратить. Все это было сделано, несмотря на контракт, по букве закона. Овчинина утешала мужа в несчастье и между прочим уверяла его (давая денег взаймы), что я изменяла ему давно, а теперь с Никитиным наверное. Довела его до того, что он послал мне телеграмму, в которой спрашивал отчета в моем поведении. Я прочла эту телеграмму матери и Никитину: оба они были возмущены, и мать хотела писать ему сама в мою защиту и советовала «бросить такого негодяя», но я, поплакав, решила выехать немедленно назад. Никитин отправился дальше, а я явилась в Орел и увидала на дебаркадере Овчинину с полковником, приехавших предупредить меня об истории в театре и о том, что муж «рвет и мечет». «Я не думала, что вы такая скрытная. Вы знаете, я терпеть не могу вашего мужа, а вас очень люблю и помогла бы вам всем»,— добавила Овчинина. Сомнения не было — она убеждена была в моей измене мужу и обращалась со мной иначе, более фамильярно, так мне, по крайней мере, казалось. Муж встретил меня с видом грозного судьи, но я так была возмущена телеграммой, его подозрениями и в особенности встречей Овчининой, что в первый раз заговорила с ним, как женщина, а не ребенок, и высказала все, что накопилось у меня на душе за последнее время. Кончилось тем, что я объявила, что воспользуюсь советом матери, да и общим, и брошу его, так как подобная жизнь невыносима. Должно быть, это подействовало, так как он заговорил о театре и свалил свое раздражение на историю с Медведевым. История, действительно, была некрасивая, и выхода не было никакого. Много силы воли нужно мне было, чтобы пойти в театр, где все смотрели на меня особенными взглядами: все знали, что муж выгнан, а я должна служить по кон-

тракту, а главное, потому, что иначе есть будет нечего, и все шушукались насчет моей поездки с Никитиным, хотя, за исключением двух женщин, никто не был уверен в этом. Говорить спокойно, как ни в чем не бывало, и знать, что каждый из них всматривается в меня, вслушивается в каждое мое слово и придает всему особое значение,— было более, чем тяжело, и теперь, при одном воспоминании, мне делается холодно. Но я хорошо играла мою роль, даже и тогда, когда оскорбления коснулись меня за вину мужа. Медведев забыл мои услуги (даже забыл простой расчет) и, увлекаемый советами фаворитов, Давыдова и Шуберт в особенности, стал всячески притеснять меня, зная, что без меня обойтись нельзя. Стрепетова скоро должна была перестать играть, и без меня хоть закрывай театр. Давно было решено, что в декабре пойдут «Светские ширмы», которые я после Казани играла в Саратове гораздо лучше, и они были поставлены для меня, но вышла афиша, и на ней крупными буквами стояло: «Роль Сашеньки исполнит в первый раз г-жа Стрепетова». Это меня совсем убило. Я убедилась в умысле со стороны Медведева и не могла понять, за что он мстит. Муж не дремал все это время и хлопотал о месте в другом городе. Не знаю почему, ему пришла мысль написать обо всем Александру Петровичу, от которого, очень редко, впрочем, но получались известия. В ответ мы получили телеграмму от антрепренера Саратовского театра (Николай Владимирович Лихачев), в которой он спрашивал наши условия, предлагая внести неустойку и, если можно, немедленный выезд. Это было незадолго до святок, а на второй день рождества должен был состояться бенефис Медведева и он ставил пиесу «Со ступеньки на ступеньку», которая без меня была положительно немыслима. Отменить спектакль Медведев ни за что бы не согласился, и пришла наша очередь ему мстить. Муж ликовал, а я прыгала от восторга, что вырвусь из этого проклятого Орла. Муж с особенным торжеством понес телеграмму и отказ служить Медведеву. Все были поражены, как громом. Сделать было ничего нельзя, так как мы платили неустойку, и Медведеву осталось только просить, чтобы я дослужила до конца месяца (т. е. сыграла его бенефис), за что он предлагал взять только половину неустойки. Муж согласился. Но Медведев не мог отпустить нас покойно: слишком уж он был зол на всю

эту историю и придумал мщение. В его бенефис у меня была хорошая роль, и он настоял, чтобы я играла еще 29 числа последний спектакль и поставил в этот день «Жидовку» со Стрепетовой, а я должна была играть в водевиле «Фанни Эльслер» совершенно бесцветную роль дочери, в два слова, а в последнем действии даже ничего не говорить, а только стоять на сцене, и не объявил в афишах, что играю в последний раз.

Мне следовало сказаться больной, чего требовал муж, но я хотела доказать Медведеву, что я честнее его, и решилась посмотреть, что выйдет из этого спектакля. Сбор был небольшой, но все знавшие меня собрались к водевилю. Половина публики не знала, что я уезжаю, но весть скоро распространилась по театру, и меня вызывали много раз и поднесли букет и копилку с золотыми «на дорогу». Под конец стали кричать Медведева, но он скрылся задним ходом из театра, чтобы не проститься со мной, хотя я ждала его долго в конторе. В эту же ночь мы выехали в Саратов с самыми теплыми пожеланиями провожавшей публики (из товарищей не было ни души) и 1 января 1873 года приехали туда.

САРАТОВ

Николаю Владимировичу Лихачеву, саратовскому помещику, бывшему гусару, страстному охотнику, большому ленивцу и добрейшему человеку, приснилось когда-то (факт), что он может быть хорошим антрепренером и... он снял саратовский театр. Затею эту вполне одобрил Александр Петрович, его закадычный друг, и, несмотря на уговоры жены и советы всех окружавших (Н. В. был упрям), было решено набирать труппу, и сезон открылся. Служили: Стружкин, Глебова и Шумилин, главные, остальные неважные, да еще Евгений Полтавцев, который был режиссером. Всех этих любила публика, но труппа была мала, благодаря чему нас и выписали. Я очень обрадовалась, увидав Александра Петровича и всех старых знакомых. Публика приняла меня чрезвычайно радушно, но труппа, т. е. Глебова со своей компанией, очень враждебно.

Глебова ни за что не хотела играть вторую роль в «Светских ширмах» (я начинала ими) и объявила, что если я буду играть княгиню в «Блестящей партии» (что я заявила на второй дебют), то она тотчас же уедет, так как это ее лучшая и любимая роль. Я, не желая ставить себя сразу в неловкое положение, сказала, что мне все равно, какую роль ни играть, и Глебова настояла на постановке «Блестящей партии», и я должна была играть француженку кокотку, а она мою роль. Ей поднесли два букета, но меня принимали гораздо лучше, и она не хотела идти на вызов, браня публику и крича, что меня неизвестно зачем выписали и тому подобное. На другой день она

перестала со мной кланяться, что по театральному означало мой полный успех. Сезона оставалось всего шесть недель, и он весь прошел в постоянных историях с Глебовой: она хотела играть только те роли, которые назначались мне, и капризничала ужасно. Чтобы пиеса шла хорошо, мы с Полтавцевым стали надувать Глебову следующим образом: он читал пиесу и при распределении ролей ставили ее фамилию против моей роли и наоборот. Глебова, получив роль, заявляла, что если ей не дадут мою роль, то она играть не будет. Полтавцев, поспорив для приличия, соглашался, и наша хитрость удавалась. Так <как> это было всегда в присутствии всей труппы, то Глебова потом отказаться не могла, и мы обе были на местах. Это удавалось нам несколько раз. На свой бенефис она поставила «Далилу», где я должна была играть вторую роль, драматическую, с падением. Я расчувствовалась и упала так неосторожно, что опасно <заболела> и едва докончила сезон. Необходимо было лечиться вообще, а на этот раз в особенности. Все, и Александр Петрович в особенности, стали уговаривать мужа свезти меня в Петербург к хорошим докторам. Из-за этого были невыносимые истории, но кончилось тем, что мы дали в первое воскресенье после масленой концерт, и на эти деньги я могла поехать лечиться. Я отправилась. Столица показалась мне отвратительно холодным во всех отношениях городом, доктора, и Красовский в особенности, самыми антипатичными людьми, а мимо гостиницы «Париж», где я жила, и теперь не могу проехать без отвращения. Города я почти не видала, так как большею частью приходилось лежать, брать ванны и т. п. Проведя таким образом полтора месяца, пришлось вернуться в Саратов. Отец опять приехал гостить к нам, и опять сцены с мужем стали повторяться чаще и чаще — жизнь стала буквально невыносимой и, несмотря на мое твердое решение разойтись с ним, сделать было этого нельзя, так как на зиму с Лихачевым был заключен контракт. Опять помог Александр Петрович. Он уговорил Лихачева заплатить неустойку Савину (так как он был совсем ненужный актер) и отпустить его. Савин не замедлил согласиться, взял деньги и уехал служить в Симбирск. Вся эта история стоила мне много слез и горя. Здоровье мое было расшатано вконец, но теперь я была свободна. Я не верила своему счастью, а тогда я действительно была

счастлива, т. е. покойна. Начался сезон. Я наняла себе маленькую, уютную квартирку, взяла мебель напрокат, наставила много цветов и зажила припеваючи. Лечилась усердно, хотя мои труды пропадали даром, так как, играя, лечиться было нельзя, но я все-таки лечилась. Обязанная своим спасением Александру Петровичу, я дала ему слово заботиться о своем здоровье, что и исполняла свято. Лихачевы, вся семья, очень любили меня, и я могла делать в театре, что хотела, но я не пользовалась этим, а, напротив, сошлась с Глебовой и сумела убедить ее, что зла ей не желаю и наш успех зависит от ансамбля. Пиесы шли хорошо, труппа обновилась несколькими лицами (Новиков, Петипа и другие), бенефисы были удачны и я блаженствовала. А. П. был в Петербурге, и я из своего уютного уголка писала ему благодарственные письма.

К сожалению, сезон кончился скандалом. В бенефис мне поднесли серебряный сервиз, а Глебова в свой получила только цветы (у ней было четыре бенефиса и она могла получить подарок в следующий). Это ее взорвало и она опять перестала кланяться со мной, а на второй бенефис она поставила «Василису Мелентьеву» и дала роль царицы Анны (мою любимую) водевильной актрисе, уверенная, что та ее испортит, и аплодисменты только придутся на долю Глебовой. Оказалось, что та имела больший успех, чем бенефициантка, а Глебова так рассердилась, что не хотела идти, когда ее вызывали, и на другой день уехала в Петербург, не докончив сезона. Лихачев с нового года не был уже директором и сдал театр купцу Каблукову, ничего не понимавшему в деле, кроме наживы. Служить у него было не особенно приятно, но надо было дотянуть.

По газетам мы узнали, что Глебова дебютировала на императорской сцене и имела успех, все решили, что она поступила туда, и осуждавшие ее прежде нашли, что она поступила умно, бросив Саратов. Я задумалась. Глебова была недурная актриса, но она уехала, и никто не сожалел о ней, а я служу здесь третий сезон, и Саратов считает меня своей любимицей, да и везде я имела успех, значит, я лучше, а, во всяком случае, не хуже Глебовой. Отчего это я не дебютировала в Петербурге? [28] Но при одном воспоминании об этом противном городе я решилась лучше век жить в Саратове, чем ехать туда. Здоровье мое не

поправлялось, и постом мне все-таки советовали опять обратиться к Красовскому — может быть, он найдет какое-нибудь средство, и в Петербург ехать необходимо. Мне был двадцатый год и вся жизнь впереди, стало быть, надо поберечься. Получала я тогда 450 рублей в месяц и два бенефиса, жила очень скромно и, стало быть, в средствах для поездки не нуждалась. В Петербурге у меня был дядя,[29] родной брат отца, и я решила, приехав, побывать у него: его большая семья, наверно, встретит меня по-родственному и мне не будет так скучно. Театр перешел от Каблукова к присяжному поверенному Куприянову, и я, подписав контракт на зиму на 500 рублей в месяц, уехала спокойная в Петербург.

ПЕТЕРБУРГ

Семейства дяди я не нашла: оно жило в Москве, а у него была контора и молодая конторщица Любовь Николаевна. Она весьма обязательно вызвалась мне помочь в знакомстве с городом и проч. Были мы, конечно, и во всех театрах.

Меня поразило отсутствие талантов на Александринской сцене. Кроме Самойлова, Васильева 2-го да еще, пожалуй, Сазонова, не на ком остановиться. Исполнение вялое, скучное, казенное... Я вынесла отвратительное впечатление и опять у меня шевельнулась мысль: неужели я хуже их играю? Это было в особенности после дебюта Мельниковой-Самойловой в «Ошибках молодости», где мою роль играла Лелева, водевильная, весьма плохая актриса. Яблочкина 2-я только что покинула Петербург, где была любимицей и о ней много говорили; публика была вооружена против дирекции, и на ее место трудно было найти ingenue. Была я и в клубах, где большею частью подвизались провинциальные силы, — там исполнение было лучше, чем на казенной сцене. Дядя смеялся над горячностью, с какой я осуждала императорских артистов, и не верил, что в Саратове пиесы шли с большим ансамблем, чем здесь. Во мне таланта он и не подозревал и даже сомневался, умею ли я ходить по сцене, чем постоянно дразнил меня. Любовь Николаевна брала мою сторону и настоятельно уговаривала сыграть «хоть раз» на одной из клубных сцен. Сначала я отговаривалась, боясь неуспеха (а это могло повредить мне в будущем), потом нежеланием просить дебюта, саратовским контрак-

том и т. д., но она настаивала, говоря, что один раз не повредит ничему, а по крайней мере дядя убедится, что я в самом деле актриса. В одну из суббот мы отправились в Благородное собрание, и Любовь Николаевна, познакомившись с распорядителем Сосновским, просила его дать мне сыграть что-нибудь. Он вежливо, но холодно ответил, что теперь у него играют провинциальные знаменитости Глебова и Мельникова-Самойлова и «других нам не нужно», но так как он слышал обо мне, то может предложить какой-нибудь водевильчик для начала спектакля или конца. Все это меня рассердило чуть не до слез, и я толкнула Любовь Николаевну, давая этим знать, что разговор кончен. Уходя из собрания, я дала себе слово не унижаться просьбами и не играть ни за что. Через неделю мы опять смотрели спектакль в собрании, и в одном из антрактов я увидела Сосновского, пробирающегося сквозь толпу по направлению к нам; я боялась ошибиться, но сердце у меня замерло... Действительно, он подошел ко мне и, представив мне следовавшего за ним мужчину, просил выручить последнего из беды. Дело было вот в чем: в следующую пятницу назначен бенефис представленного мне Полонского, но по болезни Глебовой он состояться не может; за нее взялась играть Мельникова, а вторую роль, равносильную первой, играть некому. Сосновский вспомнил обо мне, и Полонский обрадовался случаю, лишь бы спектакль состоялся. Пиеса была назначена, и я принуждена была играть в новой, никогда не виданной даже мною роли. Это немножко меня смущало, но ведь я играла не для того, чтобы поступить на сцену. Это было великим постом, и так как эта пиеса должна была идти на пасхе в бенефис Алексеева, то представляла для артистов императорск<ой> сцены большой интерес и многие собирались смотреть на исполнение, и на Мельникову (она должна была вскоре дебютировать) в особенности. Обо мне никто не знал, да и не интересовались. Начались репетиции: я, по обыкновению, говорила свою роль, проверяя себя, насколько я ее знаю, и отмечала места, исполняя желания всех окружавших. Когда пиеса была слажена, я увидела, что многое мне неудобно, но не смела ничего сказать, так как ясно видела полное недоверие к моим силам. На последних репетициях Сосновский и Полонский стали делать мне замечания, а из-за кулис доносился голос Мельнико-

вой, говорившей своему мужу: «Она испортит всю роль. Как она холодна! Лучше пусть вымарают эту сцену. Бедный автор, он так рассчитывал. Пиеса провалится и не пойдет на казенной сцене». Автор, Антропов, был начинающий драматург, и эта пиеса («Блуждающие огни») должна была, да и сделала ему имя. От меня, правда, много зависело, так как моя роль одна из главных. Приговор Мельниковой меня немного обескуражил, но я знала, что вся завишу от настроения и в спектакле будет совсем другое, но не могла же я уверять их в этом. Мельникова репетировала как следует, остальные тоже, одна я продолжала конфузиться и едва слышно подавала реплики. На предпоследней репетиции около суфлерской будки уселось несколько человек публики (как потом я узнала, постоянные члены собрания). Это меня еще больше смутило. В довершение мучения один из них, Павел Иванович Рейслер (заика), тоже сделал мне замечание в сцене объяснения в любви, которая так сердила всех, а Мельникову особенно. Я не выдержала и обратилась к Сосновскому с полными слез глазами: «Будьте добры, дождитесь спектакля и не требуйте от меня «игры» на репетиции, я этого не умею. Я могу плохо сыграть, но никому не испорчу. Я уже пять лет на сцене, стало быть, не нуждаюсь, чтобы меня учили ходить по ней. Если же все так мной недовольны, то можно меня заменить другой актрисой». Полонский испугался за бенефис и подбежал уговаривать, Сосновский стал извиняться, и я поняла, что мой монолог произвел впечатление: все убедились, что я не такая рыба, какой кажусь. Я воспользовалась этим и, поставив свои сцены по своему усмотрению, почувствовала себя совсем на своем месте в этой новой трудной и незнакомой мне роли. Я одевалась в общей уборной, и к Мельниковой приходило много знакомых, из разговоров которых я узнала, что вся «Александринка» будет смотреть нас сегодня. Все косились в мою сторону, и до моего слуха долетел шепот: «Это провинциальная? Совсем девчонка!.. Хорошо играет? Это у ней свои волосы? Не может быть». Мы с Любовь Николаевной переглядывались, слыша все это, и я продолжала одеваться, дрожа от холода и страха. Спектакль начался. Я стояла, как каменная, ожидая своего выхода. Любовь Николаевна умоляла меня нарумяниться, говоря, что я похожа на смерть, но я просила ее только оставить меня в покое. Я

судорожно ухватилась за кулису (что я делаю, впрочем, и до сих пор при каждой новой роли), и если бы кто вздумал меня оттащить раньше выхода, то кусок дерева, наверно, остался бы в моей руке. Я чувствовала, как я была бледна, но знала, что тотчас после первых фраз лицо у меня загорится, и потому не брала румян, несмотря на мольбы Л. Н. Она, видя мое состояние, начала уже бранить себя за этот спектакль и уговоры, но ни за что не могла понять, что мне нужно было спокойствие, и не хотела замолчать. Когда режиссер сказал: «вам выходить», мне казалось, что я окунаюсь в холодную воду или кипяток и что это надо сделать разом, моментально и... забрав воздуху, я вылетела на сцену. Я выходила с бенефициантом, его встретили аплодисментом, и хотя это было не мне, но все-таки ободрило меня (в Саратове я не выходила без этого), а главное, дало возможность немножко оправиться. Первое действие кончается моей сценой с Полонским, и когда его вызывали, то он брал меня, но мне казалось, что это только из любезности. Любовь Николаевна уже ждала меня в уборной и сообщила, что все находят мою игру чрезвычайно жизненной, правдивой и что я очень симпатична. Начался второй акт, которого все, да и я сама, очень боялись: драматическая сцена с фразой, которую предлагали выбросить (и я чуть на это не согласилась). К концу сцены я положительно не помнила себя, я «неслась» в монологе и очнулась при громе рукоплесканий, вызванных этой несчастной фразой, которую, по словам Мельниковой, я сказала в «совершенстве». После конца этого акта все, что могло, бросилось на сцену: меня окружили со всех сторон, представляли разных личностей, и все актеры казенной сцены познакомились со мной. Среди общего гула ясно слышалось: «талант», «дебюты», «должны принять», «прелесть», а голос Шрейера (рецензента) покрывал всех, крича: «У нас только бездарностям дорога». Нильский был подле меня, и эта фраза почему-то задела его, он послал какое-то колкое слово по адресу Шрейера и обратился ко мне с вопросом, желаю ли я поступить на императорскую сцену. Я ответила, что имею контракт с Саратовом на очень выгодных условиях, каких дирекция мне не даст, а, главное, навязываться дирекции не желаю: если нужно, то пусть меня пригласят. Дядя был в полном восторге и предсказывал мне фурор. Так и вышло. К концу спектакля везде слыша-

М. Г. Савина — Катя.
«По духовному завещанию»
В. А. Крылова. 1874 г.

М. Г. Савина —
Елена Григорьевна.
«Злоба дня» Н. А. Потехина. 1874 г.



М. Г. Савина. 1878 г.

лось мое имя, и я уж получила приглашение сыграть еще несколько спектаклей. Это было 17 марта 1874 года. Долго я не могла уснуть от волнения и счастья. Через несколько дней, в том же клубе, я играла «Она его ждет», комедийку в одно лицо, тоже новую роль, и была встречена аплодисментами, а под конец мне сделали овацию и поднесли букет. Нильский опять был в спектакле и настаивал на дебюте, говоря, что он уже сообщал о моем успехе начальнику репертуарной части Федорову (о котором я наслушалась ужасных вещей) и он согласен на мой дебют. При этом он дал мне свою визитную карточку и написал на ней: «среда 12 часов утра», прося быть у Федорова в это время и ручаясь за хороший прием. Я не решилась ехать без дяди, и мы отправились в назначенное время. Действительно, Федоров принял нас насколько мог любезно, но когда дело коснулось условий, то он замахал руками: «Помилуйте, у нас м-м Нильская не получает бенефиса, а вы хотите сразу...» Дядя предложил не говорить об условиях до дебюта, и на этом порешили. От Федорова я должна была отправиться к режиссеру и оставить там мой репертуар. Для дебютов я назначила: «Блуждающие огни», «Светские ширмы» и «Доходное место». Через два дня я получила ответ, что ни в одной из выбранных мною пиес я играть не буду: «Блуждающие огни» идут в бенефис Алексеева, роли уже розданы и мою играет талантливая начинающая актриса Дюжикова. «Светские ширмы» нельзя потому, что это лучшая роль Струйской. а «Доходное место» — Жадова нет, да и вышло из репертуара. «Что же я могу выбрать?» спросила я. «Вы если поступите, то на место Яблочкиной 2-й и должны играть только ее роли». Кончилось тем, что меня принудили начать пиесой Крылова «По духовному завещанию», которую я играла в Казани один раз всего и едва помнила, да вдобавок это была лучшая роль Яблочкиной. На второй дебют мне назначили «Воспитанницу» Островского, как драматическую роль, а на третий — роль Зины в комедии «Ангел доброты и невинности», где Самойлов был бесподобен. Последняя пиеса только мне улыбалась, так как роль Зины очень подходила мне, да и с Самойловым играть очень хотелось, но первые две привели меня в ужас. Пришла я на сцену, как в лес, и если бы не Сазонов, то совсем пропала бы, — таким холодом обдали меня императорские артисты. Больше одной репетиции, да и то только

моих сцен, не полагалось, и я чуть не заплакала. К счастью, Сазонов устроил еще одну полную и свою роль репетировал со мной, как следует. Они играли пиесу чуть не пятьдесят раз, а я бродила как впотьмах. Дебют мой был более чем удачен: публика буквально восторгалась каждым моим словом, а газеты захвалили совсем.[30] В театре же говорили: «Это всегда так, а поступит — перестанут замечать. Много было таких дебютантов». Перспектива эта пугала меня, несмотря на продолжение удачных дебютов.

Ожидали Шумского на гастроли, и я, естественно, должна <была> отодвинуться на второй план и ответа никакого не получала. Шумский приехал и заявил для первого спектакля «По духовному завещанию». Мне прислали повестку на репетицию и объяснили, что есть какое-то правило, по которому дирекция может требовать повторения дебюта. Я подчинилась этому правилу и... имела успех наравне, если не больше Шумского. Пришлось еще раз сыграть эту пиесу, а затем Шумский просил меня выучить для его бенефиса комедию Достоевского «Старшая и меньшая», где у него была бесподобная роль, а моя заключалась в одних репликах, но от них зависела вся роль Шумского. Когда Любовь Николаевна прочла комедию, она пришла в ужас, а дядя положительно запретил мне ее играть. Мне самой роль страшно не нравилась, а пиеса казалась чрезвычайно сухой и не сценичной, но отказать Шумскому я не смела, да и Сазонов советовал играть, так как весь Петербург будет в театре и это может повлиять на мой прием. Я почти поссорилась с дядей и начала учить роль, с каждым разом находя ее более и более интересной. Шумский хотел выбросить последнюю сцену (очень выгодную для меня), находя ее крайне трудной и ненужной для исполнения, но я просила оставить и услыхала следующее: «Да ведь, если вы испортите эту сцену — вся пиеса пропадет, ведь это финал». «Я попробую», — сказала я. «Это очень похвально, но с кем я ни играл, эта сцена никогда не удавалась и ее вымарывали». Я все-таки настояла и доказала, что имела на это право. «Старшая и меньшая» решила мою участь: меня сравнивали с Шумским, и пиеса шла пять раз кряду. Наследник-цесаревич пожелал ее смотреть, и я чуть с ума не сошла от восторга, глядя на переполненную царскую ложу.

Дебюты мои кончились, и условия были заключены: 900 рублей в год, 15 рублей разовых, бенефис и казенный гардероб, контракт на три года с прибавлением каждый год по 5 рублей разовых. С Саратовом надо было проститься, заплатить неустойку и взять вещи, для чего я и отправилась туда с тем, чтобы к 15 августа вернуться на службу в императорский театр.

Первый год службы в Петербурге промелькнул, как сон. Я играла и репетировала, репетировала и играла. Меня эксплуатировали безобразно. Каждую пятницу был бенефис и, стало быть, новая роль для меня. Отказ был невозможен, да и не в моих правилах. Публика бросалась на новинку, и я скоро сделалась любимицей. После таких успешных дебютов я начала сезон 17 августа переводной пиесой «Бабушкина внучка», но и пиеса, и я особенного успеха не имели. Затем для меня почему-то вздумали поставить «Бедовую бабушку» и давали ее перед опереткой, потом водевиль «Утка и стакан воды». Очевидно, было дано распоряжение, чтобы я играла не менее трех раз в неделю, а что играть, — безразлично. Газеты восстали против моего репертуара, и я немножко упала духом, предвидя близкий конец. Бенефисы начались со Струйской, с половины сентября. На роль нельзя было рассчитывать, так как она сама захочет играть, но как новинка я должна была участвовать, и Струйская выбрала глупейший водевиль «Пятнадцатилетняя вдовушка» во французских костюмах и пудре, где Лелева играла роль маркиза, моего мужа. Пиеса, годная для марионеток. Отказаться было нельзя, и я решилась на этот срам. К счастью, в следующий бенефис — Малышева — 27 сентября у меня была роль в «Злобе дня» Н. Потехина, которая решила мою участь, иначе, пожалуй, весь сезон пришлось бы сидеть на водевилях. Мой бенефис был следующий после Малышева — 8 октября, что крайне меня огорчало. Публика знала меня очень мало и пиесы нет: как тут брать бенефис. Притом же мне нужна была роль, хорошая роль во что бы то ни стало. После долгих советов, с Сазоновым в особенности, я решила поставить «Мишуру» Алексея Потехина,[31] пиесу заигранную, давно сошедшую с репертуара и даже не подходящую ко времени, но роль героини выкупала ее недостатки и чрезвычайно шла ко мне. Все пришли в ужас от моего решения, но я твердила, что о сборе

не хлопочу — мне нужна роль. Никто не сомневался в полном неуспехе моего бенефиса, так как и роли никакой не находили в этой пиесе, и все пророчили полный провал, тем более после фурора в «Злобе дня». Но я твердо решилась. С 27 сентября, т. е. с бенефиса Малышева, я сама стала злобой дня: успех мой был колоссален, и я опьянела от него. «Мишура» превзошла мои ожидания: роль удалась на славу, и я редко играла с таким вдохновением, я чувствовала, что публика с первого моего выхода следит за малейшим моим движением и живет со мной жизнью бедной Дашеньки, я вошла в роль в полном смысле слова. После третьего акта меня почти внесли в уборную: я видела лица актеров, начальства, чужих, незнакомых, слышала неясный гул, чувствовала поцелуи на щеках, руках и знала, понимала, что это все восторг. Среди этого хаоса раздался чей-то голос: «Теперь я опять буду писать для сцены», и со словами: «пустите, пустите, дайте мне поглядеть на нее», вошел Алексей Потехин и со слезами начал благодарить меня, целуя мои руки. Более симпатичного лица мне не пришлось видеть, и я, в свою очередь, стала благодарить его за роль и просила осуществить фразу, вызванную успехом сегодняшнего вечера. Спектакль кончился овациями, и на другой день я думала, что мой бенефис был волшебный сон. Через день рецензии хвалили меня за выбор пиесы и возносили до небес мою игру. Сбор был далеко не полон, но успех мне был дороже денег, хотя я в то время очень нуждалась в них. С этих пор я заняла место первой актрисы в ущерб бедной Струйской, которую затерли окончательно. Поведение товарищей относительно ее возмущало меня до глубины души. Тогда жили только разовыми и, не давая ей играть, отнимали кусок хлеба, не говоря о самолюбии, которое буквально топтали в грязь. Я чрезвычайно жалела ее, всячески хлопотала в ее пользу, но помочь, к сожалению, ничем не могла. Публика, видя ее редко, к ней охладевала (а давно ли она была любимицей?), и она потухала на моих глазах. Она ушла со сцены в 1881 году, отслужив двадцать лет, и вышла замуж.[32] В последнее время она появлялась на сцене только в дни своих бенефисов и постоянно хворала, не имея сил перенести свое падение. Никто не скажет про нее дурного слова: как человек она оставила по себе прекрасную память, а я никогда не забуду этой симпатичной личности,

перед которой невольно так виновата. Переворот в ее положении, совершившийся в моих глазах, дал мне хороший урок для моего будущего, но, к несчастью, я им мало пользовалась и позволяла сознательно эксплуатировать себя этим добрым товарищам.

Под конец зимы я совсем расхворалась; но, к счастью, постом мы не играли, и я могла отдохнуть. Сестра и мамаша служили эту зиму в Казани у Медведева; перед масленой у них сгорел театр, и труппа осталась в ужасном положении. Я тотчас же послала письмо к мамаше, прося ее приехать в Петербург ко мне, пока они устроятся в другое место. Мне очень хотелось увидать сестру и показать ей столицу. На первой неделе поста они приехали и кое-как разместились в моей маленькой квартирке. Сестра была уже совсем взрослая и очень красивая девушка, брату Коле было семь лет. Елена призналась мне, что влюблена в актера Писарева[33] (он служил с ними в Казани), и он сделал ей предложение, о чем мать догадывается только и ни за что не согласится на этот брак. Я, конечно, обещала ей все, даже невозможное, и дала слово выдать ее замуж во что бы то ни стало. Весь пост я носилась с ней, как с куклой, нашила ей платьев, собирала у себя гостей, возила ее в клубы и, наконец, устроила спектакль, где она играла по своему выбору водевиль «Простушка и воспитанная». Ее принимали очень радушно, но особенного эффекта она не произвела. Я хотела видеть ее на сцене, так как помышляла поместить ее в императорский театр. Кругом говорили, да и я сама сознавала, что ей надо еще учиться, а главное, я еще не была настолько сильна, чтобы быть уверенной в успехе моих хлопот. Я хотела видеть ее самостоятельной, а не служащей по моей протекции и нашла, что дебютировать ей можно только через два года или хоть в будущий сезон. У ней к тому же не было никакого репертуара, кроме вторых ролей в оперетке. Все это я ей высказала, и она, очевидно, согласилась со мной, но скоро взгляд ее изменился. Познакомившись с дядей и Любовь Николаевной, она проводила целые дни у них. Дядя восхищался ее красотой и основывал на ней будущий успех. О свадьбе, по их мнению, до дебюта нечего было и думать: они пророчили ей чуть не владетельного принца в мужья. У девочки закружилась голова и в ней постепенно зрела мысль, что я не хочу до-

пустить ее дебюта из боязни быть убитой ее красотой и талантом. Приехал Писарев. Он оказался очень симпатичным, умным, красивым и без памяти влюбленным в сестру. Я, по обещанию, начала усердно хлопотать, т. е. уговаривать мать, и тут начались такие сцены, что хоть святых вон неси. Мать кричала до исступления, говоря, что ее дочь хотят погубить, Елена рыдала, Колька пищал, я спорила до истерики и кончила тем, что поссорилась с матерью, объявив, что мы обойдемся без ее согласия. Ни один обед не проходил без скандала, и мне все это страшно надоело. Сначала мать обрушила все на дядю, поссорилась с ним на смерть (что еще усилило дружбу Елены к нему), а потом стала пилить Елену, что я враг ей, что я боюсь ее дебюта и потому хлопочу о свадьбе с Писаревым и т. п. Елена находила в душе отголосок всему этому, тем более, что у дяди осмеивали ее выбор и сулили небывалые успехи в будущем. Сцены повторялись, но и Елена стала принимать в них участие, и я начала замечать, что она разделяет мнение матери и даже убеждена в моей интриге. Очень мне было тяжело, но я думала, что это несерьезно, и готовила все к свадьбе.

Писарев уехал в Москву просить благословения у своей матери и после святой должен был возвратиться. Он, как и я, заметил перемену в Елене, но я постаралась успокоить его. Пришло от него одно письмо, другое. Елена не отвечала, и когда <я> стала выговаривать ей и убеждать, что так поступать нечестно, она выпалила мне целую тираду о моей собственной нечестности относительно нее и, очевидно, повторяла слова матери и дяди. Изо всего этого я поняла, что я «гнусная интриганка», что я «боюсь ее» и что за Писарева я сама могу выходить, а она не намерена. «Актер! — заключила она. — В Петербурге можно найти что-нибудь получше. Тебе мало твоего замужества, ты хочешь, чтобы и я была такая же несчастная». Все это было ей наговорено, и она живо присвоила себе чужое мнение и повторяла громкие фразы, как попугай. Писарев телеграфировал, писал, наконец, приехал сам, но решительного ответа не получал: она придерживала его на всякий случай, и он, должно быть, понял это, так как уехал, написав ей все, что думал о ней. Свадьба расстроилась, мать ликовала, а сестра отнеслась к этому более чем равнодушно. Она крайне возмутила меня своим поведением с Писаревым, и

мы крупно поговорили, после чего часто все сидели по разным углам и убийственно молчали.

Я молила бога, чтобы они скорее уехали в Саратов, куда были приглашены на лето. В одно утро я проснулась от шума в соседней комнате и увидела Елену, одетую в новое платье, как-то особенно причесанную и надевающую новую шляпку.

Было не более десяти часов, и я удивленно спросила:

— Куда это ты собралась?

— К Федорову, просить дебюта, — ответила она ледяным тоном.

Я вскочила и, сев на кровати, смотрела на нее во все глаза, не веря своим ушам.

— Мне назначили быть у него сегодня и на будущей неделе я дебютирую.

Я спросила, как можно спокойнее:

— Ты, очевидно, рассчитываешь на успех, но все места заняты, на какое же амплуа ты думаешь быть принятой?

— На роли Савиной,— отвечала <она>, и злая усмешка скривила ее губы.

— Куда же вы денете Савину? — опять спросила я.

— Тебя выгонят, как только я поступлю.

Эти слова подтвердила тут же вошедшая мать, объявив, что с моим характером и моими капризами (мое слабое здоровье и до сих пор считают капризами), дирекция долго держать меня не будет и что об этом уже говорят.

— Леночке как раз время теперь дебютировать. Она тебя за пояс заткнет и о тебе не заплачут. Хорошо, что мы скрыли от тебя визит к Федорову, а то бы ты, наверно, помешала ей, как мешаешь во всем.

Я сидела, как оглушенная громом, но, когда Елена уходила, я пришла в себя и сказала, что после высказанного ими, а главное, после поступка Елены, о котором, наверно, знает уж весь театр, я прошу не обращаться ни за чем ко мне ни в каком случае. Успех же, добываемый ею таким холодным расчетом на мою гибель, когда я, кроме добра, ей ничего не сделала и не желала, не принесет ей счастья. Она вернулась через час (дядя возил ее) и сообщила, что ее приняли очень хорошо, но дебют отложили до будущего года. Очевидно, она была очень недовольна, но старалась это скрыть и продолжала изредка свои шпильки по моему

адресу. Обвинить меня в интриге нельзя было, и они обе потерялись, не зная причины отказа. К вечеру мать напустилась на Елену и стала обвинять дядю: «Это он все затеял. Если бы сестра тебя повезла, это было бы совсем другое. Как против сестры идти? Теперь тебя никогда не примут...» Повторилась обыденная сцена, и мне пришлось убежать из дома. Наконец они уехали в Саратов, а я совершенно разбитая отправилась на кавказские минеральные воды, где лечилась до половины августа.

ПЯТИГОРСК

В ПЯТИГОРСКЕ была труппа под предводительством Надлера. Я встретила нескольких товарищей по провинции. Положение актеров было плачевное и, конечно, меня просили играть. Я согласилась принять участие в трех спектаклях за плату (третья часть сбора) и раздала эти деньги труппе. Там были две беременные актрисы, которым Надлер не хотел платить жалованья. Примадонной была Морвиль, ужасная актриса, нравившаяся только самому антрепренеру. Я сыграла «Блуждающие огни», «Светские ширмы» и «Доходное место».

После последнего спектакля я получила подарок: в театре мне подали букет, перевязанный вместо ленты прелестным кавказским поясом, с адресом от публики и дома застала свою комнату, убранную коврами, посредине стоял такой же турецкий диван и на столике серебряный кувшин на подносе. Публика, узнав, что я играю с благотворительною целью, желала благодарить меня за удовольствие (так было сказано в адресе). Возвратясь в Петербург, я должна была переменить квартиру, чтобы сделать «кавказскую комнату». Я жила в Железноводске, где пользовался водами знаменитый (тогда еще только фельетонист) Суворин.[34]

Он познакомился со мной и высказал желание написать для меня пиесу. Мы встречались каждый день у источника и за обедом и были, по-видимому, в отличных отношениях. Теперь мне даже смешно вспомнить, что я когда-то с ним говорила дружески: вскоре после этого он стал моим злейшим врагом. За что и почему — не знаю. При-

езжал в Железноводск Лентовский и просил меня участвовать в своем концерте, предложив половину сбора, но наши расчеты вышли очень странны: он поставил на афише концерт от моего имени, а не с моим участием, на что я его не уполномачивала и что меня рассердило.

Сбор был полон. Лентовский, со свойственной ему грубостью, не поблагодарив меня за участие (от своей половины я отказалась), скрылся из Железн<оводска> в ту же ночь. Я дала себе слово «не помогать товарищам» иначе, как только в крайних случаях. Из-за этих спектаклей я должна была бросать ванны, слушать выговоры доктора и лежать по нескольку дней, сознавая, что все, приобретенное мной за месяц, ушло в один вечер. Когда я переехала в Кисловодск, там были маневры, и великий князь Михаил Николаевич присутствовал на них. Мне передали, что он желал бы видеть меня на сцене и что в Пятигорске устраивается спектакль, но решилась сдержать свое слово и принуждена была отказать себе в этом удовольствии.

ПЕТЕРБУРГ

сезон <18>75/76 года. «Фру-фру»

Возвратясь, я узнала, что мать и сестра приехали из Саратова и намерены жить всю зиму в Петербурге в ожидании дебюта. Дядя обещал им помогать, и сестра должна была играть по клубам. Ответ Федорова я приняла за отказ, зная закулисные порядки, но Елена поняла его в буквальном смысле, и мне было больно за ее самолюбие. Дядя был всему виной, а Любовь Николаевна в особенности. Я крупно поговорила с ними и перестала бывать там. Как потом оказалось, сестра играла двойную роль и разыгрывала из себя жертву моей зависти, почему и возбудила такое участие. Таким образом, я знала только из газет об ее существовании. Брата я взялась воспитывать, так как он был брошен на произвол судьбы: у матери не было средств, а отец забыл о нем думать.

Я поместила его в приготовительный пансион по 500 рублей в год. Ему тогда было восемь лет и ужаснее характера нельзя было представить. Играла я эту зиму еще больше, чем прошедшую. Кроме казенных спектаклей, почти каждый вечер приходилось продавать билеты в благотворительных маскарадах, что особенно меня утомляло, так как приходилось стоять до четырех часов утра. Весь декабрь и половину января я была, как в аду. После спектакля летела в клуб играть в пользу какого-нибудь благотворительного общества или продавать билеты.

Первое время эта горячка занимала меня, притом мне надо было приобресть популярность, но кончилось все это плохо. Кроме непосильного труда, моя семейная жизнь была далеко не красна. Я пропускаю подробности, так как

эти воспоминания слишком тяжелы для меня. Я стала заметно прихварывать и 15 января свалилась окончательно. Накануне был бенефис Марковецкого и для меня поставили «Фру-фру». Этот вечер никогда не изгладится в моей памяти. Играть «Фру-фру» в Петербурге наряду с французским театром был большой риск для меня, но меня уверили, что это возможно и даже должно. Дирекция отпустила мне 600 рублей на туалеты, но мне пришлось приложить много своих, так как я отдавала своей портнихе, а не шила в дирекции. Роль пришлось учить заново, потому что тут был другой перевод, и хлопотать с семью платьями, для чего у меня было только два часа в день свободных. Каждый вечер я играла и репетировала от 10 часов утра до 4-х. Портниха моя жила в Знаменской гостинице на самом верху, и <я> каждый день бегала на ее лестницу для примерки или совета. Денег контора не выдавала, а надо было взять у поставщика на означенную сумму. Материи давались отвратительные и не модные, а в другом месте взять нельзя.

К спектаклю я была измучена окончательно. Моя портниха имела привычку присылать платья в последнюю минуту, но никогда не обманывала. Ввиду такого большого заказа она дала слово бросить чужую работу и привезти все до начала спектакля.

Во втором действии от начала до конца говорят о новом роскошном платье, в котором Фру-фру и выходит на одну минуту, и этим заканчивается акт. Все было принесено, исключая этого платья (самого необходимого), но я начала пиесу в полной уверенности, что оно поспеет. Первый акт кончился, и я, вбежав в уборную с вопросом — «принесли платье?» — получила отрицательный ответ. Я переоделась и просила повременить антрактом, но наконец дольше тянуть было нельзя и я пошла на сцену со смутной надеждой, что к переодеванию платье поспеет.

Я пользовалась всяким случаем взглянуть за кулисы и увидать там успокоительный знак и каждого выходящего на сцену спрашивала глазами насчет платья, но, увы, все отвечали: «Нет». Наконец мне надо было идти переодеваться, для чего по пиесе дано $3^1/_2$ минуты. Около двери, в которую я уходила, было поставлено зеркало и перегородка из кулис, горничная меня ждала, я моментально сбросила лиф и услыхала: «М. Г., платья-то не принесли».

Я застыла от ужаса и ничего не могла сказать. Вскоре подошел помощник режиссера Орлов, значит, мне надо сейчас выходить, а я стояла перед ним без лифа, с глазами полными слез. Когда застегивали на мне лиф (я сама ничего не могла сделать — руки у меня отнялись), мне казалось, что меня заживо хоронят. «Вам выходить!» — крикнул Орлов, и я, опомнясь, выбежала на сцену со словами:

— Вообразите, платья-то мне не принесли!

Как я кончила акт — не помню, но это не помешало бесчисленным вызовам, по обыкновению. Возвращаясь в уборную, я по дороге увидала что-то большое, двигающееся через толпу, и догадалась, что это несут мое платье, опоздавшее на четверть часа. Я, помня, что мне надо играть еще три действия, и самых трудных, благоразумно решила не волноваться, и портниху с платьем не пустили в уборную. Баронессу, мою подругу, играла Подобедова 2-я, актриса в высшей степени холодная, думающая на сцене только о красивых поворотах своей фигуры и о своем шлейфе.

Она играла всегда, как говорится, «нарочно» и не допускала увлечения в других. После горячей сцены с мужем она должна выбегать при моем падении и поддержать меня, но я напрасно рассчитывала на ее помощь — она дотронулась только до меня своей перчаткой, и я упала навзничь, сильно закинув голову. Она даже не решилась поправить мою неловкую позу, и я почти потеряла сознание и, как оказалось потом, вытянула себе какую-то жилу.

Последний акт был для меня пыткой. После всех этих мучений меня привезли едва живую домой. На другой день спектакль пришлось отменить, а через день все газеты разбранили меня за плохое исполнение роли, что усилило, конечно, мою болезнь. Я пролежала месяц. Появился сухой отрывистый кашель, удушье и полный упадок сил. Доктора, пользовавшие меня, предложили консультацию Боткина, и я узнала, что у меня «астма», «блуждающая почка», «печень не в порядке» и нервы окончательно расстроены, для чего «вам необходимо немедленно ехать за границу, лучше всего в Италию, в Сорренто, например»,— заключил свою речь знаменитый врач. Это было начало февраля и разгар сезона. Из-за моей болезни некоторые бенефисы откладывали, и труппа была возбуждена против меня, чему помогал Сазонов, с которым я поссорилась

в начале сезона без надежды когда-либо примириться. Я знала, что он злой враг, но предпочла это его компрометантному ухаживанию. Доктора написали свидетельство, и я подала просьбу об отпуске за границу, а также просила у дирекции денег на дорогу. Отпуск мне выдали на шесть месяцев, а денег 200 рублей. По расчету я могла доехать на них только до Вены. Это отношение ко мне дирекции крайне меня огорчило, но делать было нечего: я даже не имела права возвратить эти деньги. Пришлось занять, сделать большой долг и отправиться. Полумертвая, истерзанная нравственно больше еще, чем физически, я отправилась в далекий путь с полузнакомой мне девушкой, с искренними пожеланиями друзей и с тайным предчувствием не вернуться. Так казалось мне, да и всем.

ФЛОРЕНЦИЯ

Ехали мы с большими отдыхами: в Варшаве, Вене, Триесте останавливались на несколько дней, но, несмотря на это, я все-таки не вынесла долгого пути и свалилась в Венеции, откуда меня привезли во Флоренцию почти без сознания. Во Флоренции нас должен был встретить мой старый друг (бывший товарищ мужа по флоту), князь Е. Ю. Г.,[35] чрезвычайно симпатичный и, что называется, душевный человек. У него были огромные дела по наследству, недавно полученному, и он разъезжал по всей России.

В каждом городе, где нам приходилось служить, появлялся на некоторое время князь и все свободное время проводил с нами. Изредка я с ним переписывалась. Встреча с ним за границей, где он гостил тогда у своих сестер, крайне меня радовала, и я охотно последовала его совету отдохнуть и пожить во Флоренции, пока я поправлюсь. Злые языки утверждали, что он в меня влюблен, но я почему-то не допускала этой мысли: она казалась мне оскорбительной. Тогда еще я верила дружбе между мужчиной и женщиной и считала князя идеалом друга. Я не обращала внимания на сплетни и иногда подшучивала на эту тему. Прожив три недели во Флоренции, я стала поправляться, и доктор позволил осмотреть город. Я была очень слаба и ходить не в силах. Мария Михайловна (моя компаньонка) созналась, что, судя по дороге, она не рассчитывала видеть меня в живых, а также рассказала, с какой заботливостью князь относился ко мне во время болезни. Действительно, я была окружена вниманием, которого не

замечала в первое время. Замечание Марии Михайловны открыло мне глаза и я, вдумавшись в прошедшее, пришла к заключению, что князем руководит чувство более нежное, чем дружба. Это меня огорчило несказанно. В Петербурге я была окружена толпой поклонников, смотревших на меня, как на живой товар, каждый рассчитывал приобресть меня так или иначе. Это было невыносимо для меня и сколько раз я жаловалась князю в письмах и на словах на это отношение публики к актрисе. Он разделял мое негодование, и мы вместе придумывали средства, как избавиться от этих оскорбительных исканий. И этот человек, этот друг, знающий мою жизнь, как свою, видящий, какое глубокое горе переживаю я в данный момент и как я слаба во всех отношениях, решается оскорбить меня своим чувством! Он, этот друг, в ряду грязных ухаживателей! .. Сознание это доводило меня до отчаяния, но, обдумав хорошенько, я решила выждать время в смутной надежде ошибиться в своих предположениях.

Наступил день моего рождения, и князь предупредил, что он хочет передать мне что-то важное. С ужасом ждала я этого дня, так как была уверена, что при одном намеке выскажу моему «поклоннику» все мое презрение и заранее плакала при мысли о моем разочаровании. Наступило 30 марта. День был серенький, холодный. В огромном кресле перед камином сидела я, укутанная, дрожа от холода и ожидания. Мария Михайловна расставляла цветы, присланные князем в огромном количестве (цветы всегда были моею страстью), и от времени до времени поглядывала на часы, удивляясь, что князь не является поздравить меня и завтракать он должен был с нами. Я в душе радовалась этому замедлению, так как еще в постели получила письмо с поздравлением, где напоминалось о «важном» разговоре, имеющем быть сегодня. Наконец, в дверь постучали. Этот звук отдался, как эхо, во всем моем теле. Вошел князь и, поздравив меня, просил принять в подарок портрет его крошечной племянницы (я страстно хотела ее видеть, и портрет был заказан для меня) в прелестной рамке флорентийской мозаики. Портрет девочки привлек все мое внимание, и ожидаемая неловкость встречи исчезла сама собой. Я от души благодарила князя за такой приятный подарок, он рассказал, сколько хлопот было

М. Г. Савина — Верочка.
«Месяц в деревне»
И. С. Тургенева. 1879 г.

М. Г. Савина — Варя.
«Дикарка» А. Н. Островского
и Н. Я. Соловьева. 1879 г.



М. Г. Савина. 1913 г.

в фотографии... разговор завязался, и завтрак прошел даже весело. Предполагалась прогулка, по общему мнению ее отложили, боясь возобновления моей лихорадки. Мария Михайловна ушла писать письма (она истребляла необычайное количество бумаги и писала даже ночью), и я осталась с князем для «важного» разговора. Разговор этот действительно был очень серьезен и должен был решить участь моей дальнейшей жизни. Князь просил моей руки. Я была более чем поражена. Мне так стыдно было моих предположений, так хотелось просить прощения за все дурное, что я думала о нем, и вместе с тем какое-то (все-таки) дурное чувство шевельнулось во мне. Недоверие было моей главной болезнью. Конечно, я отвечала, что это невозможно, немыслимо и приводила тысячу доводов, но на все получила опровержения. «Моя семья примет вас как родную, сцену вы не оставите, я слишком ценю ваш талант и знаю, что ничем не могу заменить то, что дает искусство, упрекнуть вы себя ни в чем не можете, ваша жизнь прошла перед моими глазами, я строго и долго обдумывал этот шаг, прежде чем на него решиться. Я хочу только вашего спокойствия и могу вам дать его, а вы *должны* принять это как необходимость для продолжения вашей блестящей карьеры. Семейные дрязги убивают ваше здоровье, вы несчастны и вас некому утешить, теперь, больная, вы брошены судьбой в такую даль с чужой вам женщиной и, имея все права быть любимой, вы отравляете себе жизнь разочарованием в двадцать два года».

Так говорил князь и повторял то, что много раз думала сама, но он забыл самое главное. Неужели горький опыт первого брака не мог повлиять на меня; наконец, после этого несчастья выйти опять замуж за человека, которого не любишь (а я не скрыла от князя, что не люблю его), значит, сознательно обмануть себя и его. «Я знаю, что вы не любите меня (но и никого другого), а в уважении и дружбе вашей уверен. Цель моей жизни: ваше здоровье, спокойствие и развитие вашего таланта. Доверьтесь мне, я этого стою». Я верила ему, ему одному в целом мире (больше у меня не было друзей), но все-таки ответила «нет» на его предложение. Тут случилось то, чего я никак не могла ожидать: князь заплакал горькими слезами. Это до того поразило меня, что я совсем растерялась и второпях, желая его утешить, пробормотала: «Успо-

койтесь, я подумаю... я не отказываю решительно, но ваше предложение так неожиданно...» Эти слова совершенно успокоили его и, как потом оказалось, он принял их за согласие. Счастью его не было границ, и с этого дня он начал строить воздушные замки нашего будущего, и я, из боязни увидать снова его слезы, одобряла его планы молчанием. В одно утро он, смущаясь и краснея, заговорил о моем знакомстве с его сестрами: смущение заключалось в том, что он не решался предложить мне ехать к ним первой. Я побранила его и, сказав, что этого требуют даже приличия, решила ехать тотчас же. С сильным замиранием сердца, забыв о своем кашле, я взбежала на лестницу, не слушая испуганных криков князя, который был еще внизу, но принуждена была остановиться в третьем этаже, так как не знала номера квартиры. Оказалось, что я стою перед дверью, куда князь позвонил через несколько минут. Сестры его, одна замужняя, другая девушка, жили в очень скромном пансионе, занимая три маленькие комнаты. Муж старшей высылал ей очень скудные средства, на которые она ухитрялась жить с сестрой и ребенком. Муж ее был аферист, и все деньги жены, князя и приданое княжны ушли на предприятия. Князь, несмотря на громадное наследство, полученное им недавно, был запутан зятем окончательно. К счастью, последнее наследство заключалось в майорате, доходы с которого (около 75 тысяч) шли на уплату долгов. Кроме зятя, князь был окружен людьми, разоряющими его. Делами он занимался только с целью обеспечить сестер и ребенка, т. е. возвратить взятое у них. Визит мой был недолог, все были смущены, говорили обычные случаю натянутые фразы, даже появление ребенка, которого я так давно хотела и теперь могла поцеловать, не прервало невольной холодности, все стеснялись. Тем не менее мы хорошо рассмотрели друг друга, и уходя мне казалось, что я оставляю там свою душу и уношу с собой чудные, глубокие серые глаза, удивленно смотрящие на меня, старшей сестры Софии. За этот взгляд я готова была отдать полжизни. Она очаровала меня совсем, когда приехала ко мне на другой день отдать визит. Мне хотелось броситься к ней на шею и расцеловать кончики ее пальцев. И она стоила моего восторга, да и все восхищались ею. Эта женщина удивительное существо: не от

мира сего, как говорят. Она была очень несчастна в своей семейной жизни и переносила все без упрека, отдавшись вполне обязанностям матери. Красавица, без тени кокетства, она смотрела всегда спокойно, прямо своими огромными темно-серыми глазами, окруженными великолепными черными ресницами. Иногда у ней был как бы удивленный взгляд, отчего глаза казались еще больше и какие-то лучистые. Я не могла оторваться от них. Цвет лица бледный, казался еще бледнее от совершенно черных волос, гладко причесанных. Высокий рост, медленные движения, спокойная простая речь... Все это восхищало меня, и я чуть не молилась на нее за право назвать ее не только сестрой, но близкой, я готова была отдать все и стала без страха думать о предстоящем браке, в особенности, когда услыхала от нее следующую фразу: «Вы можете влиять на брата и вы одна. Принудьте его заниматься делами, от этого зависит наше будущее». Я своим влиянием могла улучшить ее положение!.. С этого дня я решила сделать все, даже невозможное. Заминая прежде разговоры о свадьбе, теперь я сама начинала их, зная, что этим я могу заставить князя сделать все мне угодное, и стала знакомиться с положением его дел. Из писем управляющего я узнала, что присутствие князя в России необходимо, что он промедлил срок отпуска, и стала гнать его из Флоренции. Но отъезд он обусловил обещанием с моей стороны начать переговоры с мужем о разводе. Я согласилась, сообразив, что развод не повредит ни в каком случае, а только развяжет меня от обязательств, иногда предъявляемых мужем в виде старых долгов и т. п. В душе я все-таки не верила в возможность моего брака с князем и думала, что время возьмет свое, а между тем дела устроятся, тогда мой отказ не будет пагубен для его состояния. Время было переезжать в Сорренто, и князь наотрез отказался ехать в Россию, не устроив меня там. Надо было согласиться, и сестры находили, что так будет лучше. Затем, на другой день, было решено тотчас же начать переговоры о разводе. Я удивилась такой поспешности, но князь объяснил ее очень просто:

— Я так хотел бы избавить вас поскорей от всяких обязанностей. Все-таки этот человек имеет некоторые права на вас. Я буду спокойнее.

Пришлось согласиться. И, таким образом, этот «бесхарактерный» человек, на которого я должна была «влиять», подчинял меня своей воле, и я исполняла его капризы, чтобы «не повредить делам». К Савину была послана телеграмма, где было сказано, что я больна, желаю его видеть и прошу приехать на мой счет в Сорренто. Он тогда держал театр в Вологде. Ответ пришел очень скоро с обозначенной суммой, которую я тотчас послала. Мы переехали в Сорренто. Князь приезжал на два дня, а потом явился опять на другой день приезда мужа.

СОРРЕНТО

Мы выехали в это очаровательное местечко по чудной дороге <в> Кастелламаре и очутились у запертых ворот, за которыми не было признака гостиницы. Переспросив швейцара, мы узнали, что это и есть «Отель Виктория», что наша депеша получена и комнаты готовы. Ворота отворились, и я вскрикнула от восхищения: мы двигались по аллее померанцевых деревьев в полном цвету, и ветви, цепляясь за коляску, осыпали нас своими белоснежными, пахучими цветами. Аллея шла книзу, и в конце открывался грандиозный вид на море: против самого отеля раскинулся Неаполь, направо Кастелламаре, налево остров Капри и знаменитый лазоревый грот. Гостиница показалась мне роскошной, а комнаты были более чем удобны. Мой балкон выходил на огромную террасу, угол которой принадлежал мне, а остальное — семейству Елены Сергеевны Рахмановой (урожденной княжны Волконской, дочери декабриста Волконского), жившей около года в Сорренто и занимавшей целую квартиру. Рядом со мной был китайский посланник, который вскоре уехал. Внизу еще было семейство русских — граф Крейц с женой и м-м Лярская с дочерью. В павильоне жила тоже русская, больная дама, и вместе с нами приехало семейство графа Гендрикова.

С Рахмановой была целая свита: трое детей, два гувернера, архитектор, художник и масса покровительствуемых ею талантов. Они занимали полстола за обедом. В первый же день Елена Сергеевна заговорила со мной и очаровала меня своей простотой и любезностью. Указывая на наше близкое соседство, просила быть без церемоний и предла-

гала свои услуги по части каких-либо затруднений в отеле. День был жаркий (начало апреля), и я рискнула посидеть в саду. Мария Михайловна укутала меня пледами (три месяца мои руки и ноги были холодны, как лед), и мы устроились подле беседки под померанцевым деревом. Я сидела не шевелясь и упивалась его запахом, как вдруг в беседке послышались голоса, и сквозь зелень я увидела Гендриковых и графиню Крейц. Разговор шел обо мне, и Гендриков <описывал> графине мое положение в Петербурге: «И ее на руках носят, талант, звезда... Но жаль, что эта звезда скоро закатится. И зачем ее послали в такую даль? Сегодня как она кашляла за столом, да и лицо... Последний градус чахотки. Она, по-моему, двух недель не проживет». Я слушала этот беспристрастный приговор, затаив дыхание, и чувствовала, что не через две недели, а теперь, в эту минуту жизнь оставляет меня. Я пришла в себя в своей комнате, в постели, куда меня принесли с помощью того же Гендрикова. Я долго бредила его словами и неделю была без сознания. Мария Михайловна совсем растерялась, поверив всему слышанному, и чуть не телеграфировала князю о моей смерти. К счастью, она забыла его адрес в Неаполе. Елена Сергеевна деятельно принялась ухаживать за мной и поправила все дело: своей энергией и веселостью она сделала больше, чем все доктора. Я стала проводить целые дни на балконе, вдыхая морской воздух и любуясь чудным видом.

После завтрака Елена Сергеевна приходила со своей семьей ко мне и скоро перезнакомила меня со всеми жильцами отеля. Все знали, отчего мне стало хуже, симпатизировали мне и старались развлечь мои мрачные мысли. У Елены Сергеевны старшая дочь, семи лет, называлась Марусей, прелестный ребенок, любимица всего отеля. Я, с моей страстью к детям, конечно, скоро привязалась к ней и она полюбила меня. Я не ходила вниз к обеду и рано ложилась спать. На другой день Маруся, пробежав террасу в одной рубашонке, стучалась ко мне в балконную дверь, крича: «Вставай скорей, я несу гостинца». Десерт от обеда принято было уносить с собой, и она берегла мне апельсин или миндаль, чтобы отдать утром. Конечно, я душила ее поцелуями, и мы сидели обе на моей постели, пока не раздавался голос няньки и Марусю уносили одевать с приличным наставлением. Так прошло две с половиной

недели. Я утопала в спокойствии и молила бога, чтобы это состояние продлилось, как можно дольше. В это время я способна была отказаться от всего на свете и навсегда поселиться в этом очаровательном уголке.

В одно действительно прекрасное утро я получила депешу, вслед за которой явился муж. Я очень боялась волнения, но, к удивлению, встретила его спокойнее, чем ожидала. Чувство злобы, даже ненависти к этому человеку было сильно во мне, но я дала слово не выказать ничего и вести только деловой разговор. Не упомянув ни слова о свадьбе и князе, я спросила его условия относительно развода и, получив отказ, предложила подумать хорошенько. Он был слишком практический человек, чтобы не сообразить своей выгоды и скрытой цели моего предложения. Я отложила объяснение до завтра (князь должен был приехать), и мы спустились обедать вместе. Как дико мне было сидеть с ним рядом после четырех лет разлуки! Весь стол удивленно смотрел на нас, я заметила сомнительные покачивания голов и т. д. Очевидно, Савин произвел дурное впечатление, и все считали долгом делать свои предположения относительно нашей семейной жизни. Его поместили в свободном номере павильона, а когда я вышла на другой день к завтраку, то встретила их вместе с князем (приехавшим в ночь), мирно разговаривающими на террасе подле столовой.

По взгляду князя я угадала, что они говорили, а после завтрака убедилась, что все решено. Начались условия, как будто дело шло о продаже чего-либо. Савин потребовал вознаграждения убытков, причиненных его внезапной поездкой, на что мы, конечно, с удовольствием согласились, и затем назначил еще сумму (это я узнала после) за развод. Кончились переговоры поздравлением с его стороны: «Я давно знаю князя и с удовольствием уступаю ему свои права, с ним вы будете счастливы, и я хоть немного исправлю свою вину перед вами». Мне хотелось ударить его в эту минуту, но я, насколько могла, любезно поблагодарила его. Через день он уехал, а через несколько часов после него и князь. Мой покой был нарушен, и долго я не могла войти в прежнюю колею.

К концу месяца я узнала из газет, что сестра дебютировала и поступила на казенную сцену. Публика приняла ее радушно, «как сестру любимицы», и рецензенты объяс-

няли ее успех удачной копировкой моей игры. Вышла она в моих лучших ролях — «Мишура», «Злоба дня» и еще что-то — не помню. С ней вместе дебютировал отец, приехавший еще зимой, но не имел никакого успеха. Елена выписала отца, чтобы как-нибудь отделаться от матери, с которой она постоянно ссорилась, и к концу зимы я перевезла мать к себе, а потом устроила ей отдельную квартиру. Я написала сестре поздравительное письмо, где упомянула, что она поступила нетактично, выходя с первого раза в моих ролях. Все это, конечно, взволновало меня, но потом жизнь отеля увлекла меня своей монотонностью. Составилась компания: мы ездили на Капри, смотрели лазоревый грот, были в развалинах Помпеи, в Салерно, в Амальфи, два раза в Неаполе. Нашим гидом был граф Крейц — нестерпимый человек в дороге, и, если бы не кротость его симпатичной жены, мы бы, наверно, поссорились в пути. 2 июня я выехала в Виши, искренне сожалея о разлуке с милыми обитателями Виктории.* Мне предстояло в первый раз увидать Париж, где я должна была встретить князя. Он упросил управляющего отпустить его на неделю, говоря, что без этого он неспособен будет заниматься делом. Пришлось уступить «бесхарактерному» человеку, и мы свиделись в Париже. Князь нашел во мне большую перемену к лучшему: я почти перестала кашлять и вообще казалась гораздо здоровее. Через три дня он проводил нас в Булонь на морские купания, где, пробыв два дня, уехал обратно в Россию. Я очень была рада вестям из Петербурга. Развод тоже подвигался. Князь был доволен ходом своих дел и казался совершенно счастливым. В Булони мне предстояла еще бóльшая скука, чем в Виши, потому что приближался срок возвращения домой, и я с возрастающим нетерпением ждала этого дня. Деньги были на исходе, и нам приходилось во многом себе отказывать. Наконец прошли эти несчастные шесть недель, и я вернулась домой 15 августа.

* В Виши я проскучала шесть недель. Лечилась усердно, не имела ни души знакомых и только писала каждый день род дневника князю, что было, по его словам, необходимо.

В АЛЕКСАНДРИНСКОМ ТЕАТРЕ

сезон 1876/77 года

Театральная лихорадка сразу охватила меня. Я почувствовала в себе избыток сил и страстное желание играть, играть, как можно больше. Здоровье мое совершенно поправилось, а главное, нервы успокоились. Квартира была другая, и как будто жизнь моя изменилась. Я решила оставить мамашу у себя в надежде, что мы уживемся, и сообщила ей о предложении князя. Назначив приемные дни по субботам, я всю неделю была свободна, что крайне меня радовало, так как прежде при беспрестанных визитах я часто бывала без обеда и никогда не могла располагать своим временем. Князь стал являться каждый день, что показалось мне не совсем удобным: он иногда мешал мне, да и мог компрометировать меня. Раз я заговорила на эту тему и, к удивлению, узнала, что он объявил уже всем своим знакомым о свадьбе, тогда как у нас было условлено молчать до конца развода и, во всяком случае, если бы свадьба состоялась, то не ранее, как через год. Это рассердило меня, и я не скрыла своего неудовольствия, что, конечно, огорчило князя чуть не до слез. Я просила его бывать у меня насколько возможно часто, но не сидеть по целым дням, а главное, не провожать меня из театра, где, конечно, он бывал каждый вечер.

На последнее он согласился только потому, что мне вредно было долго сидеть после спектакля, чего он в первое время со свойственным эгоизмом влюбленных не сообразил, и скрепя сердце подчинился моим требованиям. Это была первая, хоть и небольшая ссора между нами. В городе шли самые разноречивые толки о моих отноше-

ниях к князю. Знакомые верили возможности брака, хотя я не принимала поздравлений, а поклонники приписывали «субботы» влиянию князя и позволяли себе язвительные намеки. Наконец мой жених объявил, что он не в силах подчиняться моим строгим требованиям и если я лишу его возможности видеть меня каждый день, то он не в состоянии будет работать. Управляющий обращался поминутно ко мне с просьбами «уговорить» или «повлиять», так как, по его словам, князь последнее время совсем потерял голову. Сначала все это меня только стесняло, а под конец начало надоедать. От сестры князя я с отъезда из Флоренции не имела никаких известий и, избавившись от ее чарующего влияния, взглянула на себя трезвым взглядом и нашла, что жертва будет мне не по силам. Я стала задумываться над мыслью связать себя на всю жизнь с нелюбимым человеком и для чего! .. Я никого еще не любила, мне было только двадцать два года, вся жизнь, слава, успех, все впереди. Разочарования как не бывало, и я хотела только свободы. Нелегко было при таких мыслях мириться с действительностью. Я стала анализировать поступки князя и скоро убедилась, что вместо спокойного, хорошего чувства, которое он мне предлагал (прося моей руки) взамен моей дружбы, в нем с каждым днем росла сильная страсть. Разговор был только о том, чтобы ускорить день свадьбы, и мои возражения вызывали ссору каждый раз. От управляющего я узнала, что он занимается только разводом, выдал Савину на пять тысяч векселей и вмешал в это дело несколько подозрительных личностей, от которых потом нелегко будет отделаться.

Те нагло его обманывали, уверяя, что все можно кончить в два месяца, и он на основании этого написал своей матери, прося благословения. Такая поспешность выводила меня из терпения, притом я заметила в нем недостаток, который привел меня в ужас: князь был ревнив! Сначала он не высказывался, но я ловко навела разговор на интересный предмет, и он проговорился. Видеть, как меня обнимают на сцене, было для него верхом мучений; знать, что всякий из моих поклонников рассчитывает на мою благосклонность... это было выше его сил, он хотел раздробить их всех на мелкие куски. Каждый мой взгляд, улыбка, слово возбуждали его ревность, и он со слезами в отчая-

нии признался, что со времени моего приезда в Петербург у него нет минуты покоя. На мой вопрос, что же будет после, если он теперь, не имея никаких прав, мучит себя и меня: «Я не знаю, я не знаю»,— бормотал он бессознательно.

Такие сцены повторялись часто и выводили меня из терпения. Влияния на «дела» я, очевидно, не могла иметь, так как князь в таком состоянии (и бог знает, сколько бы оно длилось) не мог ими заниматься. Мои же личные дела страдали: в театре, да и в городе говорили о моей связи с князем и даже утверждали, что он истратил 40 тысяч на мою поездку за границу. Это уже окончательно вывело меня из себя, и я сказала ему много неприятного, т. е. правды; если бы не его поспешность и нелепое поведение, ничего подобного бы не говорили. Он, конечно, винил себя, раскаивался и кончил тем, что поэтому еще более надо ускорить свадьбу. Я напомнила, что решительный ответ еще за мной и без согласия его матери я ни за что не выйду замуж. Несколько дней он ходил, как потерянный. Опять пошли письма и просьбы управляющего и окружающих «повлиять», «уговорить» и т. д., но я была холодна и непреклонна.

У меня была масса хлопот с предстоящим бенефисом. Вспоминая с восторгом прошлый год, я решила поставить опять пиесу А. Потехина «Виноватая» и тем поддержать его, так как я слышала, дирекция теснила его, и он очень нуждался. В успехе, судя по «Мишуре», я не сомневалась. Размолвки мои с князем продолжались, и редкий день проходил без ссоры на тему о его деспотизме, но он приписывал мое раздражение хлопотам о бенефисе и проклинал театр. Последнее дало мне повод думать, что он, несмотря на клятвенное обещание, заставит меня покинуть сцену и при одной мысли об этом я почувствовала что-то вроде ненависти к нему. Я стала как бы осязать цепи, опутывающие меня, и князь представлялся моему воображению ревнивым деспотом, а его чувство клокочущей лавой, от ожогов которой я хотела спастись всеми силами. Настал день бенефиса. Успех превзошел ожидания, театр был полнехонек, меня вызывали восторженно и после третьего акта стали кричать автора. Когда его привели за кулисы, я бросилась ему на шею и крепко поцеловала: его успеху я еще более радовалась, чем своему. Я получила много цветов,

серебряный венок от публики с надписью «дорогой нашей любимице» и бриллиантовую брошь в виде лиры с моим шифром (от князя, как я после узнала). После спектакля у меня ужинали, по просьбе князя, только самые интимные его друзья и мамаша. Это было совсем не то, что я хотела. Автор, товарищи, разделявшие мой успех сегодня, должны были быть со мной: какая оживленная речь, понятная только нам, закулисному миру, лилась бы теперь вместе с шампанским! Вся душа, все мое существование было там, на подмостках и в ушах еще отдавались аплодисменты, глазам представлялась освещенная зала, эта добрая публика... И вместо всего этого я видела радостное лицо князя, но во взгляде его я прочла ревность: он ревновал ко всей публике, к театру, а о том, что я поцеловала Потехина, он слышать не мог. Более, чем когда-нибудь, я оценила прелесть свободы, ложась спать и проводив гостей раньше, чем следовало.

Я хотела помечтать наедине о сегодняшнем торжестве и, пролежав с открытыми глазами до пяти часов утра, заснула с твердой решимостью отказать князю. Случай не замедлил представиться на другой же день; поводом был бенефис, мой успех и, конечно, ревность князя. Я высказала ему свой взгляд на замужество без любви и заключение, к которому я пришла. Что тут было — описать невозможно. Мольбы, просьбы, угрозы, отчаяние... Все это продолжалось более недели. Я получала по пяти писем в день и т. д. Наконец, он явился сам «поговорить еще раз». Мой идеальный друг унизился до того, что предлагал мне брак, отказываясь от всяких прав на меня, только бы иметь возможность быть постоянно подле. Я выразила сомнение относительно порядка его умственных способностей, но получила ответ, что это плоды долгих, сознательных размышлений, что он способен даже на такую жертву, чтобы доказать святость своего чувства.

К несчастью для него, глаза его говорили совсем другое, и я, указав ему на это, отказалась от «чести иметь фиктивного мужа». Я потеряла к нему всякое уважение, и это мне было очень тяжело.

Он все-таки не верил моему отказу и приходил в бешенство, когда я говорила, что, выйдя замуж, я могу полюбить кого-нибудь, это естественно в мои годы, и «фиктивный муж» должен будет допустить это. Все его безум-

ные выходки, сцены довели меня до необходимости избегать его визитов, и к концу октября мы расстались почти врагами. Я жалела о нашей дружбе, но вздохнула свободно при мысли, что у меня нет обязанностей. Развод я прекратила, так как не имела средств вести его, чем возбудила негодование Савина. Он рассчитывал на векселя князя, которые теперь теряли свою цену. Мне пришлось занять денег, чтобы заставить его уничтожить эти векселя и молчать. Мать нашла нужным упрекать меня поминутно князем, редкий день обходился без сцены, и я нашла лучшим отыскать ей отдельную квартиру и назначить известную сумму на содержание, так как Елена отказалась давать ей что-либо. С этих пор мать и брат были на моих руках, муж делал внезапные набеги на мой карман, за начатое дело развода приходилось платить, так как я просила поверенного ни за чем не обращаться к князю. Долги мои росли и финансы были в плохом состоянии. Все это немножко отравляло меня. К тому же пустота жизни вне кулис давала себя чувствовать — я стала невыносимо скучать. Семья моя жила в одном со мной городе и все это были мои враги. С сестрой при встречах в театре мы не кланялись: она окончательно меня возненавидела, когда по возвращении я опять заняла свое место, а она совершенно стушевалась. Старых знакомых избегала, а новых не хотелось заводить. Вздумала сойтись поближе с театральным миром, но не нашла того, чего искала, к тому же театральные дамы сторонились меня: «провинциалка», «бог знает как живет, как ведет себя», слышалось с их прелестных уст, и мои мечты о товариществе, братстве и тому подобном остались мечтами. Я подружилась только с Горбуновым,[36] да Монахов[37] стал ухаживать за мной. Оба они часто бывали у меня и представляли немалый интерес как умные и талантливые люди. Хандра моя увеличивалась с каждым днем. У меня явилась привычка пить после спектакля желтый чай, отчего я страдала бессонницей. В декабре у меня образовалось несколько поклонников, в числе которых был пресимпатичный молодой человек А. Ч., влюбленный в меня без памяти. Расстроив себе достаточно нервы желтым чаем, я от скуки вздумала забавляться экспериментами над моими влюбленными. После спектакля (в котором они все, конечно, присутствовали) я, усталая, окруженная цветами, трофеями недавнего

успеха, усаживала их всех в турецкой комнате, сама взбиралась с ногами на огромный диван и с чашкой моего чая в руках принималась их «изводить». Я задавала себе задачу: во столько-то времени довести такого-то до последней степени. Услыхав признание, я спокойно звонила два раза и горничная являлась «проводить», не подозревая, что гость уходил не по своей воле. Это всегда мне удавалось и очень забавляло. Я чувствовала в глубине души какую-то злость, ожесточение к чему-то неизвестному и находила необходимым мстить за что-то всем мужчинам, попадавшим на мою дорогу. Я сделалась отвратительно злой кокеткой. Один из моих товарищей уверял, что я из принципа кокетничаю с дворником и театральными кучерами. Поклонники прозвали меня царицей Тамарой, с той только разницей, что я вместо Терека выбрасывала их тела на Семеновский плац (я жила на углу Николаевской) и что царица Тамара была добрее. Это сравнение смешило меня, но я продолжала пить желтый чай, «изводить» и хандрить еще больше прежнего. В конце декабря у меня выдался свободный день, и я решилась отправиться в оперу послушать «Аиду». На святках предстояло много работы, и о развлечениях нечего было думать. Я пригласила в свою ложу Елизавету Матвеевну Левкееву с мужем: это единственная из актрис, любившая меня. Я ей платила тем же. Она была более, чем вдвое, старше меня, но удивительно подвижная, веселая, остроумная и, что называется, приятная женщина. Мы сидели в одной из средних лож бельэтажа, я совершенно увлеклась прелестной музыкой, как вдруг в начале второго акта Левкеева толкнула меня ногой: «Савушка, посмотри-ка направо, в первый ряд»,— шепнула она. Я повернула немного голову и увидала устремленный на меня бинокль и совершенно отвернувшегося от сцены военного. Он тотчас же опустил бинокль, но я не успела разглядеть лица, так как стала смотреть на сцену. Он повторял этот маневр постоянно и с этой минуты, не переставая, лорнировал нашу ложу. Меня, как магнитом, притягивал этот бинокль, но я всеми силами старалась глядеть в другую сторону, сердясь, что не могу рассмотреть лица, и боясь, что поведение этого господина обратит общее внимание на нас. Музыка потеряла для меня всю прелесть, и я сидела, как на иголках, а уехать раньше конца было бы смешно, да и неловко перед моими

гостями. Наконец, занавес опустили в последний раз, и мы стали собираться. Публика в креслах смешалась, одни бежали к барьеру вызывать певцов, другие торопились домой, и я, не нарушая приличий, могла окинуть толпу взглядом, покуда Елизавета Матвеевна укутывалась в платок. Незнакомец стоял в проходе против нашей ложи, как бы у моих ног. В один миг я рассмотрела красивое лицо, высокий рост, блестящие глаза и белую фуражку с биноклем в руках. Мы стояли один против другого, не подозревая, что взгляд, которым мы обменялись в этот момент, будет играть большую роль в нашей жизни. На подъезде, ожидая кареты, я еще раз увидала его: он буквально промчался мимо нас и шинель его даже задела меня, но он не заметил нас, ища глазами кого-то (очевидно нас); сильно хлопнув дверью, он исчез, а Левкеева, глядя на эту могучую фигуру, не удержалась от своего любимого восклицания: «Красота!» Всю ночь мне снился бинокль, через который взгляд незнакомца как будто проникал и жег меня, но на другой день я забыла красивого военного. На третий день рождества был какой-то благотворительный маскарад, где я должна была продавать билеты. Я надела свой любимый и обыденный туалет — черное бархатное, без всяких украшений, платье (в опере я тоже была в нем) и отправилась, с целью скучать до 4 часов утра, так как я имела привычку не уезжать, пока не продам все колесо. Около часу ночи ко мне подошла маска брать билеты. Я тотчас узнала опереточную актрису Ч., а за ней недалеко от эстрады остановился мой незнакомец и смотрел на меня, улыбаясь и покручивая усы. Я невольно покраснела и отвернулась. Ч. взяла билеты, он подал ей руку и они пошли по зале. Через несколько времени он прошел опять мимо меня с тем же жестом и с той же улыбкой. Я не выдержала и, окинув его «презрительным» взглядом, обратилась к моему ассистенту с вопросом, кто этот военный. «Неужели вы не знаете? Да это В<севоложский>,[38] известный всем В., le beau В., как его называют». «Нахал, должно быть, ужасный»,— добавила я. Больше в этот вечер я его не видала, чему была очень рада, так как его поведение начинало искренне сердить меня. После долгого, неотступного ухаживания, девизом которого было — цель оправдывает средства, я вынуждена была познакомиться с моим преследователем. Его дерзость,

смелость, сделали меня сказкой города и мне оставалось только подтвердить общее мнение, т. е. полюбить его, что я и сделала. Не веря ни одному слову, не уважая его, иногда даже ненавидя, я любила его без памяти и не было жертвы, перед которой я остановилась бы. К счастью, мне не пришлось раскаиваться. После пяти лет, в продолжение которых я испытывала много горя и радости, я вышла за него замуж. Все прошлое до **него** кажется тяжелым сном, а эти пять лет слишком живы в моей памяти, чтобы их записывать, и слишком дороги моему сердцу.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Подраменцев Гавриил Николаевич — отец М. Г Савиной. Был учителем рисования и надзирателем гимназии в Каменец-Подольске. В середине пятидесятых годов стал артистом под фамилией Стремлянов. Играл — по отзывам печати, весьма посредственно — в Киеве, Одессе и других провинциальных городах, временами держал небольшие антрепризы. В 1886—1900 годах служил на скромном положении в Александринском театре.

[2] «Репертуар и Пантеон» — театральный журнал, много раз варьировавший свое название, менявший издателей и редакторов. Под редакцией драматурга и критика Ф. А Кони выходил в 1840—1841, 1847—1849, 1850—1856 годах «Драматический сборник» — периодическое издание, печатавшее театральные пьесы. Выходило в Спб. в 1858—1862 годах.

[3] Подраменцева Мария Петровна — мать М Г. Савиной. Вслед за мужем стала актрисой под фамилией Стремлянова, служила в провинции до середины семидесятых годов. По отзыву своего сослуживца, «играла она все, что дадут, и все плохо. Женщина она была необразованная и знала только свою роль, да и ту не всегда хорошо, притом была туга на ухо». Он же сообщает, что однажды она в спектакле «Горе от ума» встретила Чацкого такими словами: «Здравствуйте, здравствуйте, батюшка Александр Андреевич!» и т. д.— и очень обиделась, получив за это выговор от режиссера. (См.: В. Н. Давыдов. Рассказ о прошлом. М., Academia, 1931, стр. 191—192). Оставив сцену, жила на средства М. Г. Савиной.

[4] Стремлянова Елена Гавриловна, по мужу Соболева — сестра М. Г. Савиной. Начала играть в провинции, в 1876—1883 годах служила в Александринском театре, не занимая видного положения. Подражала манере Савиной, иногда заменяла ее в ее ролях.

[5] Самойлов Василий Васильевич — знаменитый актер, виртуоз сценической техники, мастер внешнего перевоплощения и характерности, с необъятным репертуаром — от водевиля и бытовой драмы и комедии до «Гамлета». М. Е. Салтыков-Щедрин назвал его «актером всех стран и времен, а преимущественно всех костюмов» Дебютировал в 1834 году, зачислен в петербургскую драматическую труппу в 1835 году. Играл на Александринской сцене до 1875 года, затем на клубных сценах и гастролировал в провинции. Последний раз выступил в Александринском театре в 1884 году в связи с 50-летием своей творческой деятельности. Савина играла с ним в ряде спектак-

лей и под его влиянием стала глубже понимать значение высокой актерской техники и тщательно отделанной формы в искусстве театра.

[6] Более подробный рассказ М. Г. Савиной о своей жизни в Одессе и ранних сценических выступлениях включен в книгу «Мария Гавриловна Савина. Биографический очерк В. В. Протопопова», Спб., изд. т-ва «Труд», 1900, вып. I, стр. 2—6. Там, в частности, приведен следующий интересный эпизод, говорящий о врожденной артистичности маленькой исполнительницы.

«В „Уголино" со мною случился трагикомический эпизод, причиною которого было мое необыкновенное уважение к сцене. В последнем действии, когда двое мальчиков, из которых одного изображала я, умирают в башне от голода, девочка, игравшая второго ребенка и лежавшая рядом со мною на соломе, вдруг начала уничтожать какой-то пирог с вареньем, данный ей за то, чтобы она не плакала и лежала по возможности смирно... Это обстоятельство повергло меня в ужас: «Мы умираем от недостатка пищи,— мелькнуло у меня в голове,— а она хладнокровнейшим образом насыщается пирогом, да еще при поднятом занавесе». Я не понимала тогда, что мы лежим в полутьме, в глубине сцены, что публика занята игрою артиста на авансцене: мне казалось, будто все смотрят именно на нас, и только на нас.

— Не смей есть! — грозным шепотом сообщила я девочке.

Та не послушалась.

— Не смей! — повторила я еще более угрожающим тоном,— ведь мы умираем с голоду.

Увидав, что слова не действуют, я без церемонии вырвала злосчастный пирог у нее из рук и спрятала в солому...

Девочка начала плакать и кричать настолько громко, что из-за кулис (мы лежали на левой стороне сцены) протянулась рука режиссера, сначала зажала ей рот, а затем и совершенно утащила ее со сцены.

Лежала я всю остальную часть акта уже одна и, конечно, никакого одобрения за свой поступок не получила».

[7] Потехин Николай Антипович — драматург, одно время был актером и режиссером. Савина играла в его пьесах «Злоба дня», «Мертвая петля», «Нищие духом», «Мученики любви», «Богатырь века».

[8] Васильев Павел Васильевич — знаменитый актер реалистической школы, обладавший большим драматическим темпераментом и сильным, ярким комизмом. Славился как исполнитель характерных ролей в пьесах А. Н. Островского. В 1860—1874 годах играл в Александринском театре, откуда был выжит театральным начальством, не ценившим ни его репертуара, ни манеры игры, казавшейся чересчур «простонародной» для императорской сцены.

[9] Коля — брат М. Г. Савиной, Николай Гаврилович Стремлянов.

[10] «Нянька эта прожила у нас двадцать шесть лет, вынянчила, кроме сестры, еще и нашего брата и умерла в нашем семействе»,— рассказывала М. Г. Савина (приведено в названной книге В. В. Протопопова, вып. I, стр. 3).

[11] До этого труппа, все личное и сценическое имущество которой умещалось на трех телегах, дала спектакль в Нежине и играла в Гомеле. В составе труппы, кроме названных Савиной ниже актрис, был актер Н. А. Мешков-Троепольский, выдвинувшийся впоследствии на

провинциальной сцене, а суфлером служил, под фамилией Чудин, будущий знаменитый артист, товарищ Савиной по Александринскому театру В. П. Далматов. Подробнее см.: Н. А. Мешков-Троепольский. Из театральных воспоминаний. «Суфлер», 1885, № 25.

[12] По авторской ремарке, Жмигулина, роль которой вызвалась сыграть пятнадцатилетняя Савина,— «девица пожилых лет, дочь отставного приказного»; это прожженая темная мещанка, с претензией на образованность. Жмигулина — старшая сестра Татьяны Даниловны, главной героини пьесы А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живет».

[13] Согласно упомянутым выше (см. примечание 11) воспоминаниям Н. А. Мешкова-Троепольского, успехи Савиной в Бобруйске были так велики, что слух о ней дошел до Минска, откуда специально приехал директор театра, А. Л. Штраух, чтобы пригласить ее на зимний сезон.

[14] Сандунова (рожд. Юрьева) Ирина Семеновна — драматическая актриса. Играла на императорской сцене в Петербурге и в Москве, работала также в провинции. Жена драматурга Ф. А. Кони и мать друга Савиной, известного юриста и литератора акад. А. Ф. Кони. Талантливая исполнительница бытовых комедийных ролей в пьесах Гоголя и Островского.

[15] В этой статье писалось: «Молодым артисткам, не имеющим еще никакой репутации, можно посоветовать не придавать большого значения букетам, бросаемым за первый их выход на сцену, букетам, очевидно, заготовленным заранее, когда никто еще не мог знать, как им удастся роль. Пускай они знают и помнят, что это вовсе не есть выражение публики... Ох, эти букеты и неумеренные похвалы! Сколько они повредили молодым талантам на разных сценах и даже свели со сцены» («Минские губернские ведомости», 1869, № 37, часть неофиц.). Вскоре (в № 39) газета отрицательно отозвалась о труппе и ее репертуаре, отдавая предпочтение кружку любителей. О Савиной говорилось следующее: «Девица Стремлянова недурно сыграла роль воспитанницы в пьесе «На хлеб и на воду», но здешняя публика видела в этой роли образцовую игру г-жи Карпенко (младшей), далеко превосходящей молодую дебютантку и по таланту, и по сценической опытности, и потому сравнение было не в пользу последней. Но это еще не беда и пусть наши слова не обескураживают молодую артистку: на ее стороне зато преимущества молодости и более счастливой наружности, а сценическая опытность придет сама собою. Могут развиться и задатки таланта, которые, несомненно, есть у г-жи Стремляновой,— могут, если только она не будет увлекаться пустыми комплиментами и неуместными похвалами небольшого кружка, а, напротив, будет прислушиваться к голосу общественного мнения и вместе с тем пользоваться советами и указаниями товарищей-артистов, более ее опытных и более понимающих дело».

[16] Имеется в виду Костровский (Истомин-Костровский) В. И., актер на амплуа любовника и эстрадный чтец. В восьмидесятые годы держал антрепризы в ряде провинциальных городов. Принес большую пользу М. Г. Савиной своими советами в первый год ее службы.

[17] Савина по своему желанию включила эту роль в число дебют-

ных при поступлении на императорскую сцену. Игра ее в образе Полины получила хорошую оценку в печати.

[18] Имеется в виду Мешков-Троепольский Николай Александрович. О нем см.: «Театр и жизнь», 1889, № 303 (некролог).

[19] М. Г. Савина родилась 30 марта (1854).

[20] Лентовский Михаил Валентинович — воспитанник и ученик М. С. Щепкина. С 1876 года — крупный московский антрепренер, арендатор сада «Эрмитаж», где выстроил два театра: опереточный и для представления феерий, обставляемых им с безвкусной роскошью и кричащими зрелищными эффектами. Несколько раз прогорал и умер в бедности. О нем см.: К. С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве. Собр. соч., т. I, М., «Искусство», 1954, стр. 75.

[21] «Капризница», комедия в одном действии П. А. Фролова.— М. Г. Савина выступала в этой пьесе и позднее, на Александринской сцене, где ее видел А. И. Сумбатов-Южин. Вот как он рассказывал об этом в речи, произнесенной со сцены Александринского театра на заседании памяти М. Г. Савиной 8 марта 1916 года: «Я был студентом первого курса, когда из этих дверей, в пьесе «Капризница» выпорхнула стройная, прелестная девочка, с черными алмазами несравненных глаз, полных огненных искр и чарующего блеска. Отсюда раздался ее серебряный голос, волнующий и звенящий, и сейчас я вижу и слышу эту волшебную прелесть и испытываю искреннюю жалость к тем, кто никогда не видел и не слышал ее...» (А. И. Южин-Сумбатов. Воспоминания. Записи. Статьи. Письма. М.— Л., «Искусство», 1941, стр. 449).

[22] Имеется в виду Борисова (по мужу Анненская) Татьяна Борисовна, провинциальная опереточная актриса.

[23] По воспоминаниям актера А. З. Бураковского, «калужское общество весьма внимательно относилось к первым персонажам нашей труппы. Предводитель дворянства камергер А. С. Яковлев первый открыл у себя вечера и пригласил нас всех. Н. Н. Савин, как сам человек из общества, не желая ронять своего достоинства, тоже устраивал вечера и приглашал всю калужскую знать. Савинские вечера отличались особенной оживленностью; мы все принимали в импровизированном концерте участие... Вечера эти так привились, что на них собиралось громадное количество публики...» (См.: А. З. Бураковский. Театр — отец, театр — мне мать. «Сцена и жизнь», 1908, № 2).

[24] Смольков Федор Константинович — антрепренер, с 1848 года член дирекции, а с 1857 года — содержатель театра в Нижнем Новгороде. Положительная характеристика, данная ему в примечании к первому изданию записок М. Г. Савиной, совершенно не соответствует действительности. Достоверный рассказ об этом человеке, погубившем не одно дарование, содержится в книге: А. П. Ленский. Статьи, письма, записки, изд. 2-е. М., «Искусство», 1950, стр. 56—73.

[25] Медведев Петр Михайлович — брат знаменитой артистки московского Малого театра Н. М. Медведевой, ученик театрального училища при московских казенных театрах. Стал одним из крупнейших театральных деятелей русской провинции. Антрепренер, режиссер, выдающийся актер реалистической школы и прекрасный педагог, о котором с благодарностью вспоминали В. Н. Давыдов, А. П. Ленский, П. А. Стрепетова, М. Г. Савина, начинавшие свою

сценическую жизнь у него в труппе. В 1890—1893 годах главный режиссер Александринского театра, далее актер там же. Автор интересных «Воспоминаний» (Л., Academia, 1929). Рассказу о встрече и работе с ним М. Г. Савина посвятила статью «Как нашел меня П. М. Медведев» («Театр и искусство», 1903, № 46).

[26] Шуберт (рожд. Куликова, по мужу Яновская) Александра Ивановна — актриса, сестра режиссера Александринского театра и драматурга Н. И. Куликова и актрисы московского Малого театра П. И. Орловой. Любимая ученица М. С. Щепкина. Была в дружеских отношениях со многими известными писателями, играла в Александринском, Малом театрах и в провинции. Обладала большим педагогическим даром и любила заниматься с актерской молодежью. По словам В. Н. Давыдова, «с ней занималась и Савина. Медведеву это очень нравилось, и когда мы, бывало, стоим все трое: я, Савина и Шуберт за кулисами, он называл нас в шутку «консерваторией». Большую пользу принесла мне эта консерватория, и я не раз потом с громадной благодарностью вспоминал милую, умную и добрую Александру Ивановну. На Савину она имела огромное влияние» (В. Н. Давыдов. Рассказ о прошлом. Л.— М., Academia, 1931, стр. 159—160). В книге воспоминаний «Моя жизнь» (Л., Academia, 1929) А. И. Шуберт пишет о Савиной: «Я ее любила, как своего ребенка. . .»

[27] Стрепетова Пелагея Антиповна — в 1881—1890 годах и сезоне 1899/900 года служила в Александринском театре. Лучшая характеристика Стрепетовой принадлежит А. Н. Островскому, который писал: «Как природный талант это явление редкое, феноменальное; но сфера, в которой ее талант может проявляться с особенным блеском, чрезвычайно узка, и потому она, как говорится, драмы держать не может. Болезненная, бедная физическими силами, неправильно сложенная, она из сценических средств имеет только гибкий, послушный голос и дивной выразительности глаза... при ее средствах ей доступны только те роли драматического репертуара, где не требуется ни красоты, ни грации, ни изящных манер, ни величавой представительности. Ее среда — женщины низшего и среднего классов общества, ее пафос — простые и сильные страсти». «Пьесы, в которых она может показать лучшие стороны своего дарования, должны быть очень сильны и правдивы и, кроме того, приноровлены к ее средствам; такие пьесы часто появляться не могут» (А. Н. Островский. Полное собр. соч., т. 12. М., 1952, стр. 214—215).

[28] Саратовские рецензенты восторженно отзывались об игре М. Г. Савиной. Сравнивая ее со знаменитой артисткой московского Малого театра Г. Н. Федотовой, один из них писал: «По глубине чувств они, по нашему мнению, равны, а по правдивости М. Савина стоит выше Федотовой. В ней нет федотовской плаксивости». После спектакля «Живой товар» В. А. Дьяченко, где Савина играла главную роль, критик заявил: «Провинция может доставлять хороший, здоровый запас выдающихся талантов и Москве, и Петербургу» (см.: «Саратовский справочный листок», 1873, 9 февраля и 1872, 27 июня).

[29] Имеется в виду брат отца М. Г. Савиной, Аскалон Николаевич Труворов.

[30] Дебютные выступления М. Г. Савиной происходили с 9 апреля по 24 мая 1874 года и шли с нарастающим успехом. После первого

из них газеты писали: «Наша русская драматическая сцена давно уже не радовала посетителей Александринского театра таким крупным талантом...» («Голос»); «Артистка будет весьма хорошим приобретением для русской сцены» («Санктпетербургские ведомости»); «Нам приятно заявить, что (весенний) сезон начинается на нашей сцене появлением большого таланта, каким обладает г-жа Савина. Простота и естественность в ней поразительная, и, несмотря на эту поразительную простоту, вы, в то же время, чувствуете художественность этой простоты... Она вас одинаково схватит за сердце своими слезами и своим смехом; но и то и другое она проявляет художественно и увлекательно-естественно» («Петербургский листок»).

31 Потехин Алексей Антипович — драматург, в 1881—1890 годах управляющий труппой Александринского театра. М. Г. Савина играла и в других его пьесах: «Виноватая», «В мутной воде», «Вакантное место», и с особенным успехом — в комедии «Выгодное предприятие», которая много лет сохранялась в ее гастрольном репертуаре. К деятельности Потехина как руководителя Александринского театра Савина относилась резко отрицательно.

32 Струйская была весьма посредственной актрисой. «Смотреть свою пьесу со Струйской было истинным наказанием... так она умела ничего не понять в роли, смазать и опошлить все эффектные и выдающиеся ее стороны»,— писал А. Н. Островский (см.: Полное собр. соч., т. 12. М., 1952, стр. 211—212).

33 Писарев Модест Иванович — выдающийся артист реалистической школы. С 1867 года играл в провинции, затем в частных театрах Москвы. С 1885 — в Александринском театре. Автор ряда статей, редактор первого Полного собрания сочинений А. Н. Островского. В 1877 году женился на П А. Стрепетовой.

34 Суворин Алексей Сергеевич — журналист, сперва либерального, а после 1881 года — крайне реакционного направления. Был большим любителем театрального искусства, часто выступал как рецензент. Поддерживал в печати П. А. Стрепетову, весьма критически относился к игре Савиной. Из ранних ее работ высоко оценил игру в «Трудовом хлебе» А. Н. Островского. Примирился с нею позднее, как с исполнительницей главных ролей в своих пьесах («Татьяна Репина», 1888 год, и другие).

35 Согласно примечанию А. М. Брянского к первому изданию данной книги, «Е. Ю. Г.» — это князь Евгений Юрьевич Голицын-Головкин, в прошлом — морской офицер, одно время — пензенский губернский предводитель дворянства. Он был сыном Ю. Н. Голицына — композитора и владельца крепостного хора, с которым тот давал концерты в Западной Европе и Америке. Характеристику Е. Ю. Голицына-Головкина можно найти в воспоминаниях сестры его Е. Ю. Хвощинской (см.: «Русская старина», 1899, март, стр. 582—585).

36 Горбунов Иван Федорович — дебютировал в Москве, где сблизился с А. Н. Островским и его кругом. С 1855 года — в Александринском театре. Прославился как чтец-рассказчик собственных произведений — сцен из народного быта. Писал по вопросам истории русского театра и положил начало театрально-музейному собирательству. Сочинения И. Ф. Горбунова были изданы Обществом лю-

бителей древней письменности (тома I—III и полутом IV. Спб., 1904—1910).

[37] Монахов Ипполит Иванович — получил университетское образование, был вхож в литературные круги, в частности, дружил с И. А. Гончаровым; исполнением роли Чацкого (в свой бенефис в 1871 году) дал толчок ему к написанию статьи «Мильон терзаний». Славился также как блестящий чтец и исполнитель эстрадных куплетов.

[38] Всеволожский Никита Никитич — офицер Конного полка, сын приятеля Пушкина Н. В. Всеволожского и племянник И. А. Всеволожского (в 1881—1899 годах — директора императорских театров). Савина обвенчалась с ним в 1882 году и развелась в 1891 году.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

М. Г. САВИНА

ГОРЕСТИ И СКИТАНИЯ

●

Редактор Н. Р. Мервольф

Художник Б. В. Шварц

Художественный редактор

М. Г. Эткинд

Технический редактор

С. Б. Николаи

Корректор А. Б. Решетова

Выпускающий Н. И. Алексеева

Подписано к печати 27/II-1961 г. Формат бум. 84 × 108 1/32. Печ. л. 5,38 (условн. л. 8,8). Уч.-изд. л. 8,2. Тираж 45000. М-22290. Изд. № 1178. Заказ № 2309.

Государственное издательство „Искусство"
Ленинград, Невский, 28.

Типография № 4 УПП Ленсовнархоза, Ленинград, Социалистическая, 14.

Цена 60 коп.